



ИЮНЬ – ИЮЛЬ 2010



ТЕМА ЖЮРЯ:
Deus ex populi
(фантастика и религия)

От редакции

Эта колонка появляется на страницах журнала впервые — и, надеемся, она НЕ станет постоянной. Сейчас объясним, почему.

Ранее мы (редакция «Меридиана») представляли перед читателями преимущественно в виде имен и фамилий, см. Impressum. Все пространство журнальной площади (увы, достаточно скудное) «Меридиан» стремился отдать под рассказы и статьи, полагая, что именно таким способом следует обозначать свою творческую и мировоззренческую позицию. Но в данном случае определенный комментарий к содержанию номера необходим.

Темы всех предшествующих номеров журнала были довольно-таки нейтральны, по большому счету соответствуя пресловутой политкорректности. По поводу нее принято иронизировать — однако корректность все же предпочтительней бестактности. Это мнение мы сохранили и сейчас, но в данном случае, не отрякаясь от терпимости, осознанно сделали ставку прежде всего на свободомыслие. Религиозное.

Да, вы угадали: тема данного номера была выбрана не случайно. У нас были другие планы, но обвинительный, пускай даже без «посадок», приговор организаторам выставки «Запретное искусство» заставил их пересмотреть. Конечно, мы находимся вне юрисдикции правосудия Московской Патриархии (а как, извините, это назвать иначе?), но в зоне действия русскоязычной культуры. Поэтому нам — не все равно.

У читателей, конечно, может возникнуть вопрос: если уж свободомыслие, то почему все-таки упор сделан на тематику религиозную, более того, христианскую? Ну, во-первых — не только: мусульманская тематика, которую очень многие (слишком многие!) издатели затрагивать остерегаются, на страницах этого номера присутствует. А во-вторых... Конечно, если бы фанатичные защитники концепции счастливого детства развернули оголтелую кампанию, требуя суровой кары для тех, кто посмел совместить священный для всех детей образ Микки Мауса с христианской символикой, — свободомыслие заключалось бы в том, чтобы собрать в номере «недофобские» тексты. Если бы с аналогичными требованиями выступили столь же фанатичные защитники прав животных, возмущенные тем, что кто-то осмелился поставить невинного мышонка в ситуацию, чреватую черным венцом, Голофой и распятием, — то уместней оказалась бы «мышьененавистническая» фантастика.

Однако, как говорят на (в?) Украине, — «маємо, що маємо».

При этом требования корректности, полагаем, все-таки не нарушены. В остальном же — vox populi, deus ex machina...

Федор Чешко Естествознание в мире ангелов

Кондиционеры (а их в этом просторном кабинете было аж три) почему-то не работали; в распахнутые окна ломились кленовые ветки, тронутые уже первым намеком на осеннюю желтизну, и дух перегретой солнцем пыльной листвы нелепо и странно мешался с тем своеобразным запахом, который невеста отчего поселяется в любом учреждении, хоть как-то связанном с медициной.

Профессор снял и повесил на спинку кресла пиджак, до полной фривольности ослабил галстучный узел. Но легче не стало. И попытка высунуться как можно дальше в окно тоже не принесла облегчения. Оттуда, из-за толстого полога неухоженной и неопрятной листвы, не проникало ни малейшего шевеления воздуха. Правда, какое-то движение снаружи все же имелось. Откуда-то издали внезапно накатил слитный многоногий топот, и из еще более дальнего далека принеслось: «Минимум две инъекции, слышите? И фиксатор обязательно! Скорей!»

Тихий шелест раздвигающихся дверных створок вынудил профессора отвлечься от отзвуков явно нештатной ситуации, заваривающейся где-то в недрах уникально-передового санатория.

Вошедший молодой человек («молодой» — это, конечно, с точки зрения профессора, причем именно данного конкретного) был просто до неприличия элегантен и свеж — в такую-то жару! Безукоризненно стерильный ме-

дицинский халат, аккуратно подстриженная борода клинышком... очки в вычурной замысловатой оправе... и папка в руках тоже вычурная, с какими-то замысловатыми пряжками...

— Добрый день, — голос вошедшего был вполне под стать его внешности. — Главный врач приносит свои извинения, но он, к сожалению, лишен возможности оказать вам должное внимание и почтение. У нас, видите ли, непредвиденные осложнения в особом блоке...

— «Особый» — это, вероятно, для буйных? — с некоторым ехидством осведомился профессор, пожимая крепкую прохладную руку.

— Н-ну, как вам... — свободные от борды участки щеки слегка зарделись. — В общем, конечно, да. Чаю? Кофе? Или, может быть, коньяку?

— По нынешней погоде предпочел бы чего-нибудь холодного и безалкогольного.

Относительно молодой бородач с готовностью отступил на пару шагов и крикнул в разъехавшиеся при его приближении двери: «Будьте любезны, минеральную воду и лед!»

— Ну, ладно, — профессор неторопливо уселся в кресло, спинка которого уже была оккупирована его пиджаком. — Главврач занят — и ну его к монахам. Надеюсь, я приглашен не ради оказания мне знаков внимания, а действительно для серьезной консультации. Итак... э-э-э... а вы, собственно, кто?

— Я, собственно, лечащий врач того самого «затруднения», из-за которого мы сочли возможным побеспокоить вас. Конечно, ничего очень уж экстраординарного не отмечено; подобные случаи достаточно широко описаны в литературе, но что-то тут... Вот здесь у меня история болезни. Хотите ознакомиться сейчас, или, может быть, отдохнете с дороги?

Вместо ответа профессор требовательно протянул руку. Его собеседник торопливо выхватил из папки тонкий пластиковый переплет.

Снова зашелестела дверь, впуская хорошенькую девушку (ноги в три четверти общей высоты, халатик ладони на пол ниже тазобедренного сустава и, наверное, на столько же длиннее юбки). Пока сие очаровательное явление сгружалось на стол с принесенного подноса сифон, полоскательницу со льдом и бутылку некоей розовой жидкости, вопреки давешней просьбе гостя явно не являющейся чем-то безалкогольным, профессор углубился в чтение. Занятие это, похоже, оказалось весьма увлекательным. Даже когда пришла барышня как-то уж очень низко нагнулась над столешницей и чуть ли

не к самому лицу именитого консультанта приблизила свой ворот, расстегнутый пуговицы на три-четыре, — даже тогда озабоченный консультант приближенное удостоил лишь рассеянным мимолетным взглядом. И вслед барышне он тоже глянул лишь мельком, хотя она, завершив разгрузку подноса, не ушла, а прямо-таки утаницевала, соблазнительно раскачивая всем, чем только могла.

— Я не понимаю, — сказал наконец профессор, не отрываясь от чтения, — это медицинский документ или беллетристическое читиво?

— Это документ, — лечащий врач заложил руки за спину и, чуть ссутулясь, принялся неторопливо бродить из угла в угол. — Видите ли, больной и поступил к нам в очень тяжелом состоянии, а теперь...

— Простите, — перебил профессор, — это что же, записано с его слов?

— Нет, не со слов. Это записано им лично. Он сам так захотел: если, видите ли, он будет рассказывать, его станут перебивать и запутают. А так... — врач прекратил бесцельное брожение по кабинету, подошел к столу, уперся кулаками в гладкий полированный плас-



тик. — Он не спит. У нас он уже пятые сутки, и неизвестно, сколько времени лишал себя сна прежде.

— Лишал себя?..

— Да. Спать ему сейчас хочется невыносимо, но он, знаете ли, на все наши старания изобретает поистине изуверские контрмеры.

— Больше пяти суток?! Да он же теперь должен быть в состоянии тяжелейшего нервного измождения!

— Так и есть. Возможно, именно этим его состоянием вызвана подобная, я бы сказал, экзальтированность стиля. Может статься, он считает себя литератором или на самом деле является таковым.

— А кто он, действительно? Здесь об этом ничего не...

— Мы обратились в соответствующее ведомство, но оттуда пока ничего. Наверное, запрос затерялся. Сейчас готовим повторный.

Профессор пожал плечами и вновь углубился в чтение.

...жизнь, знакомая по давним мучительным снам... По снам, мучительным именно тем, что были они всего-навсего снами; необходимость просыпаться — вот что было мучительного в этих редких и ярких снах...

Как же все-таки звался тот город?

Наверное, чтобы вспомнить, снова нужно увидеть его во сне.

Его.

Огромный и разный. Город, в котором рубленые шрамы парадных улиц стиснуты меж неприступных гранитных отвесов, ломящихся барельефами, фальш-колоннами, стрельчатыми двусветными окнами; в котором парки имеют отношение скорей к геометрии, чем к ботанике, а вычурные дворцы уживаются с немощёными улочками — мирком черепичных крыш, резных ставен и неумолчного шепотка травы под

медленным ветром... Город, несмотря на высокомерную пышность главных своих кварталов, придавленный, покорённый вспучившимся в самом его центре гигантским зданием... да нет, не зданием. В людских языках ещё не выдуман подходящего слова для этого беспорядочного нагромождения ослепительных куполов под зарослью витых чёрных башен, ранищих облака отточенными жалами шпильей... Как не выдуман ещё людьми слов для того, что безумно неслось оттуда, из этого дворца над дворцами. Гимн? Псалом? Хорал? Всё не то. Никакими словами не передать всеподминающего величия этой мелодии — простой до примитивности, прекрасной до ужаса, торжественной до балагана... обволакивающей, засасывающей... чарующей... Она была слышна в любой точке города — где-то звучала подобием отдалённого грома, в иных местах ощущалась подспудно, не слухом, а всем телом, принимающим на себя ритмичную вибрацию почвы... Но — так ли, иначе, а ощущалась она везде.

С раннего детства мне случилось звенеть каблучками по ажурным чугунным мостикам-тротуарам, протянутым на уровне вторых этажей; подглядывать обрывки чужой жизни, трогательно-жалко норовящей отгородить себя оконным слюдяным блеском; ловить чёрных ящериц на мощённых ракушечником аллеях; бродить меж полуруин, оплетённых диким вьюном, и подслушивать рассказы греющихся на солнце статуеподобных ссохшихся старцев о том, когда и почему запустели окраинные кварталы великого города — молodёжь-де не хочет жить по старинке, брезгует копать в земле и (подумать только!) за морковью да репой бегает в магазины... а раньше, бывало... вот, мол, помню, ещё до Победы...

Это были сны. Редкие, томительные какой-то странной пересортицей

чувств — именно благодаря таким снам я с юных сопливых лет догадался, что восторг и страх друг дружке кровные братья. Я был чужим в этом снящемся городе, мне там дивились, меня там не принимали, и неприятие это казалось очень правильным, радостным даже... и обидным до слёз. Я знал, что туда нельзя, никак нельзя; там было неуютно, опасно, чуждо... и всё равно меня тянуло туда, как нашего дворника, багровоносого дядю Шибзю, тянуло к мутному пшённому шмурдяку.

А однажды странный город из снов облагодетельствовал меня настоящим смертельным ужасом.

Сам чёрт, наверно, не вспомнит уже, какая такая надобность занесла меня на ту старинную тихую улочку, когда-то давным-давно, чуть ли не при Екатерине еще выстроенную немецкими колонистами по их когдатошнему немецкому вкусу. Над городом — над моим, доподлинным, родным и знакомым до смертной скуки — нависало яркое летнее предвечерье, было душно и томно: где-то за горизонтом выпевала гроза; а улочка показалась такой уютной, тянувшей вдоль неё истомный сквозняк так неожиданно и приятно пах приречной зеленью, что я против желания машинально свернул на выгибающуюся плавным серпом булыжную мостовую.

Ни о чём я тогда не думал, не выискивал никакого сходства — просто шагал да шагал себе без цели и смысла по плотному (бумажный листок не втиснешь) мощенью, в глубокой тени диковинно выдвинутых навстречу друг другу вторых этажей, лениво рассматривая ажурные полуприкрытые ставни, старинные фонарные столбы с чугунными подножиями, виноградные плети, раскорячившиеся по обомшелым кирпичным стенам...

Я не заметил, когда это произошло. Скорее всего, именно так, как по-

казалось — вдруг, ни с того ни с сего, влажная прохлада встречного ветерка сменилась чуть приплесневелой промозглой сыростью, в сердце на ничтожную долю мига воткнулась и тут же выдернулась ледяная игла, и внезапно поверилось: стоит лишь сделать ещё с полдесятка шагов туда, за убегающе-плавный уличный выгиб, и... и...

Никогда в жизни — ни до, ни после — мне не приходилось так бегать. В груди неистовствовал горячий распирающий бубен, ноги оскальзывались на малейшей неровности мостовой (а булыжная мостовая — это одна сплошная неровность), хрипящий рот вместо воздуха захлебывался горьким горячим потом, а я бежал, летел, нёсся, потешая одиноких прохожих. Так нёсся, словно бы за мною черти гнались. «Словно бы»?

Невинная прогулка оставила по себе дурацкую вздорную память: как будто, смалодушничав, упустил что-то безвозвратное, выпадающее в жизни лишь считанные разы, и в то же время будто бы чудом и в самый последний миг уберёгся от несчастья более жуткого и более непоправимого, чем смерть.

Безвозвратное — упущенное и избегнутое — догнало ночью.

Там тоже настала ночь; мои шаги нескромно отдавались в гулком месиве мрака и бесстрастной фонарной желтизны; и всё с той же пережитой днём плавностью ускользал впереди неизломчивый украдливый выгиб облепленных растопыренным виноградом уличных стен; и нависали над головою выдвинутые навстречу друг другу вторые этажи, прикрывая смеженные жалюзи козырьками черепичных карнизов... Всё было как днём, только теперь булыжная мостовая беззвучно пела великий гимн великого города.

А потом тихонько проскулили дверные петли, и из открывшегося чёрного проёма (а сперва примерещи-

лось, будто бы прямо из стены) вышла она.

Она казалась такой одинокой и растерянной — одна среди оправленного камнем ночного безлюдья; она так смешно и трогательно испугалась эха шагов, коверканного насмешничающими стенами...

Я спросил:

— Вам страшно? Вас проводить?

Она отвела со лба смоляную прядь, скользнула по моему лицу бездонным провалом взгляда и ответила:

— Да.

— А меня вы не бонтесть? — спросил я снова.

— Вас — нет, — облитая чёрным сверканьем по-ящеричьи гибкая фигурка подскользнула, пристроилась рядом, взяла под руку... — Пойдёмте скорей, тут близко.

Теперь, когда я двинулся в том же направлении вместе с НЕЮ, выгиб улицы раздумал ускользать. Через каких-нибудь полдесятка шагов дома шарахнулись в стороны, подспудные отзвуки гимна рванули уши подобием отдалённого грома, и мостовая, перелившись в ажурный чугунный мост без перил, круто взмыла над встопорщенной крышами да шпилями бездной. Далеко впереди громоздились огненосные купола, и жалили ночное небо чёрные башни, и льющийся из-под самых наших ног мост еле заметной волосинкой упирался туда, в подножье великого дворца над дворцами...

— Вам ещё рано, — маленькая, но сильная, неприятно ногтистая рука дёрнула за локоть, увлекла в сторону, под чёткие шары и диски древесных стриженных крон. — Храм Великой Победы ещё не примет вас. Но, может быть, скоро... скоро... скоро... — то ли шепот, то ли несмелое эхо барахтается меж деревьев, изувеченных садовниками-компрачкосами...

Аллея. Хруст щебня-ракушечника под неспешными прогулочными шагами. Редкие вычурные фонари. Кружащий голову запах прозрачных белых цветов. Кружащий голову запах искрасна-чёрных волос, узкое запястье, отдыхающее в твоей руке... И громовые отзвуки гимна вдруг тонут в хрустальном журчании радостного тихого смеха:

— Смотрите, ящерка! Рогатая, как ангелочек!

— Ангелочки не бывают рогатыми. Они... это... с голубиными крылышками и нимбами.

И снова рядом, у самой щеки, заливается хрустальным журчаньем несуществующий ручеек:

— Смотря где, смотря для кого...

Стена серого кирпича, оплетенное повиликой крыльцо под черепичным навесом, затворённые окна, подсвеченная фонарем жестяная табличка с номером дома и названием улицы...

— Вот я и пришла.

Дом номер тринадцать. А название улицы почему-то не прочитывается: крупные чёткие буквы легко распознаны по отдельности, но упорно не желают сливаться в смысл...

— Спасибо вам, заботливый незнакомец. И до свидания. Или, может, зайдёте?

— Я спешу...

— Вздор, — ее голос спокоен, ровен, но чувствуется: в любой миг может он брызнуть всё тем же хрустальным журчаньем, — вам незачем отсюда спешить. Там, внутри — камин, кофе с ликёром, и музыка, и беседа... И... — черноволосая головка игриво склоняется набок, в затягивающих омотах глаз разгорается озорство...

Жадные ледяные когти впились в горло, волна могильного ужаса выхлестнула заплутавшего человека из властной трясины сна.

Потому что в последний миг его, муторного этого сна, в миг, сумевший

оборотить его, сон, смертным кошмаром, я успел-таки отобрать у букв-саботажниц выписанное ими название.

«Улица Героев Армагеддона».

С тех пор я боюсь заснуть... нет, не так. Я ничего не знаю наверняка; я не знаю даже, вправду ли он выпустил меня, тот сон, тот кошмар, или я все еще не наяву, а в нем. Может быть, это действительно сумасшествие, но я чувствую, безошибочно чувствую лишь одно: где бы я ни был теперь, стоит мне лишь на миг приоткрыть глаза и забыть, как в мое доподлинное, настоящее вплеснется тот мир. Мир моих снов. Мир, где Армагеддон уже оттремел. Мир, где в Армагеддоне победил...

Назойливо засвиристел селектор. Бородатый врач торопливо снял трубку, несколько мгновений слушал, за-

тем, сказав в микрофон «благодарю», повернулся к профессору:

— Это дежурная из его палаты. Слава Вседержителю, он наконец уснул. Будем надеяться, что, по крайней мере, жизнь его теперь вне опасности.

— Будем надеяться, — профессор закрыл историю болезни и встал. — Что ж, выходит, я могу позволить себе час-другой отдыха. В общем-то, конечно, все ясно: навязчивая идея, уход в иллюзорный мир... Но вы правы, что-то тут чудится этакое...

— Да, — сказал бородатый. — Что-то этакое тут чудится. Прошу за мной.

Они вышли из кабинета и неторопливо двинулись гулким сводчатым коридором. В конце его предзакатное солнце золотом и багрянцем подсвечивало огромный витраж: херувим, ангел милосердия и любви, сидящий среди лилий и роз, сложив кожистые перепончатые крылья и подперев кулаком прекрасную свою рогающую голову.

Владимир Данихнов Руди гарантирует

Малыш Руди — это что-то. В колледже, например, он влюбился в красавицу из команды поддержки. Грудь у девчонки была — во! Разве такая пойдет гулять с кривоногим очкариком Руди? Но Руди не боялся трудностей. Он решил растопить сердце красавицы поэзией. Пропал из кампуса на три дня, потом объявился. Поймал свою возлюбленную за руку возле женского туалета и зачитал, как он сам выразился, «продукт любовных устремлений». Ух, как мы смеялись. Только по полу не катались. А Руди-то не до смеха!

Он, чудак, на самом деле старался. «Ворона» По переделал в любовный стих. Можете себе представить? В одном месте рифма не давалась, и малыш Руди, не долго думая, вставил единственно подходящее (как ему казалось) слово на букву «Ж». Не очень приличное слово, как вы понимаете.

Звучал стих примерно так:

*О любви мечтал с тревогой, но не смел
шепнуть ни слова
Линде, чьи глаза палили сердце мне огнем
тогда...*



А потом это самое слово на букву «Ж».

Чуть позже Руди рыдал прямо на лекции, убеждая нас, гогочущих дурачков, что вставил слово не просто так, а с умыслом, дабы проверить, впишется ли красавица в нашу веселую мужскую компанию. Не вписалась, получается. Мы хохотали над Руди, как сумасшедшие. Староста Джейн, страшилка и зубрилка, стыдила нас, но без толку. Преподаватель, привыкший к выходкам Руди, только хмурился. А мы все надували щеки, сдерживая смех... Впрочем, Малыш Руди не обиделся. Он никогда не обижался, только огорчался искренне, когда видел какую-нибудь несправедливость. У него было много недоброжелателей, у этого Руди; сам он врагами их не считал. Умел Руди видеть в людях нечто, в каждом из них, свет внутренний какой-то.

Годы проваливались в бездонную глотку титана Крона. Руди то терялся из виду, то снова появлялся. На встречи выпускников ходил исправно, но вел себя обычно тихо, незаметно.

А однажды позвонил мне. Я душ принимал, не сразу услышал звонок, но Руди терпеливо ждал, когда я подниму трубку.

— Алло! Барт?

— Малыш Руди! Как дела, старик?

— Неплохо. Слушай, Барт, нам надо кое-что обсудить. У меня. Адрес помнишь?

— Э-э...

— Записывай.

Начиналось индейское лето. Солнце ласково светило сквозь тонкую пелену облаков, воздух был прозрачен и свеж, издалека пахло горящими листьями. Напевая под нос, я подкатил к дому Руди, остановил машину возле гаража и поспешил к окну и помахал мне рукой.

— Руди, здорово, старик!

— Ты это... заходи!

Дом, просторный и роскошно обставленный, достался Руди после смерти родителей. Он жил один и к женщинам, как мне кажется, относился с некоторым подозрением.

Кроме меня, на встречу пришли Питер и Джейн. С Джейн я не встречался лет семь, — как раз столько прошло после окончания колледжа, — и, увидев ее, изумился: как похорошела! Джейн превратилась из зубрилки-замарашки в прекрасную леди. Первую половину встречи, пока продолжался ничего не значащий треп, я украдкой разглядывал Джейн и почти не слушал остальных. Потом Руди задернул занавески, замер посреди комнаты и начал речь. Я не сразу вник, о чем он говорит, а когда вник, подумал — а не пора ли мне отсюда линять?

— Помните распятие Христа? — спросил Руди. — Рядом с ним распяли какого-то негодяя, даже двух, и один из них сказал что-то вроде: если ты Бог, освободи себя и нас, а другой сказал: ну что ты такое говоришь! Этого человека казнят без вины, не то что нас. И еще он сказал Христу: прости нас, Господи! А Христос сказал: сегодня же будешь со мной в раю. Понимаете? — Руди обвел наше маленькое собрание торжествующим взглядом.

Я сказал:

— Э-э... это ты к чему?

Питер приподнялся в кресле и усмехнулся:

— А ты уверен, что так все и было? Руди замялся:

— Я давно читал, а сейчас очень боюсь открывать Евангелие, потому что...

Питер отмахнулся:

— Я не про подробности религиозного бреда. Я, братец, атеист и вообще ни во что такое не верю. Никакого распятия не было, тут ты, братец, в лужу сел.

Джейн попробовала свести разговор к шутке:

— О, Питер! Ты и атеизм? Вы несовместимы!

— Я скорее агностик, — пожал плечами Питер и подмигнул Джейн. Я с гневом уставился на него.

— Неважно, — сказал Руди. — Главное, что какой-то подонок раскаялся и его простили. Понимаете?

— Он раскаялся искренне, — сказала Джейн. — Если самый ужасный человек раскается и-с-к-р-е-н-н-е, ему откроется дорога в рай.

Питер брезгливо поморщился и плеснул себе в стакан виски.

— Бред, — пробормотал он. — Зачем обсуждать бред?

— Искренне? — переспросил Руди. — Мы — взрослые люди, малышка Джейн. Думаю, ты понимаешь, что человек сегодня может искренне раскаяться, а на следующий день опять пойдет убивать и грабить. В чем смысл тогда искреннего раскаяния? В чем, я спрашиваю? Молчите? А я отвечаю: в том, чтоб одурочить Бога и после смерти попасть в рай. Всего лишь загнать себя в особое состояние предельной искренности и раскаяться сразу перед смертью. И-с-к-р-е-н-н-е раскаяться!

Мы долго молчали. Я подумал, что у Малыша Руди не все в порядке с головой. Вот что значит — жить бобылем. Кажется, подобные мысли возникли и у Джейн. Питер же заикнулся на том, что религия — бред и слушать религиозные бредни опасно для здоровья, и поэтому, не прислушиваясь к нашему разговору, молча хлестал виски.

— Раскаяться нужно искренне, — повторил Руди, расхаживая по комнате. — Нам помогут наркотики, управляющие настроением... Что нам надо? Надо такой наркотик, чтоб умирающий, приняв дозу, говорил и думал искренне, от души, и еще нам нужен подготовленный человек, который подскажет умирающему, что именно надо говорить искренне и от души. Как вам? Стопроцентное попадание в рай! Гарантия! На тот свет с чистой совестью! Руди гарантирует! — Малыш Руди погрозил потолку кулаком. — Ну что? Я вам доверяю как себе. Давайте учредим фир-

му, а? Спасение умирающих — дело рук фирмы «Руди и друзья»! Как вам?

— Ты сильно изменился, Руди, — сказал я. — Раньше ты любил людей, а теперь...

Руди посмотрел на меня. Глаза у него были темнее ночи.

— Барт, — сказал он. — Милый веселый Барт...

— Говоришь как старичок, — заметил я. — Мы ведь молодые люди! А спорим о смерти, о религии... фирма еще эта... бред, как верно подметил Питер.

— Давайте сходим в какой-нибудь ресторанчик! — предложила Джейн и украдкой пожала мне руку. — Вспомним молодость, раз мы такие старики! — Она рассмеялась.

Я чувствовал прелестные пальцы Джейн на своей ладони и таял.

Погуляли мы славно. Пьяных Руди и Питера, спорящих о том, кто такие агностик, записали в такси около полуночи и отправили домой. Я алкоголь не пил и поэтому с чистым сердцем предложил Джейн проехаться со мной по городу. Джейн согласилась. Мы поужинали в мексиканском ресторанчике на углу восьмой и шестнадцатой, потом поехали на набережную и прогуливались по пляжу, слушая волны. Я хотел поцеловать Джейн, но она не позволила: мягко, но решительно оттолкнула меня.

И, черт возьми, это было прекрасно! Через три месяца мы поженились.

Спустя полгода рекламный слоган «Руди гарантирует» знали все. Родственники умирающих платили Руди бешеные деньги, и он заставлял умирающих искренне раскаяться. Газеты называли Руди мошенником, на него подавали в суд, но Руди подстроил так, что с юридической точки зрения к нему было не подкопаться. Руди или обученный им человек колот умирающему официально разрешенный наркотик «Искрен-

ность» и говорил с ним о каких-то пустяках, программируя умирающего на покаяние. Глупо? Ведь покаяться можно и на глазах у священника! Но разница была: священник не гарантировал, а Руди — да. Каялись самые отвратительные грешники и заядлые атеисты. Каялись и умирали. На фургончике службы раскаяния висела табличка: «Искренне раскайся и умри с чистой совестью». Этаким «служи и защищай».

За полмесяца до того, как стая зайцев вышла из леса и загрызла работника налоговой службы, к нам пришел полицейский. Питер пропал. Пропал как раз после той вечеринки у Руди. В Питере с детства жил дух хитч-хайкера, и поначалу никто не удивился, что он ни с того ни с сего исчез. Прошел год, и только тогда родственники заволновались.

Я рассказал полицейским о последней встрече с Питером, они поблагодарили меня, ушли, и больше я их не видел.

* * *

Фотография пожилого мужчины, прибитая к стене гвоздем. Список грехов и грешков, написанный на туалетной бумаге расплывшимися чернилами.

1. Приставал к двенадцатилетней дочери. Одевалась как шлюха и красилась так же. Что смотрите? Она давно не девственница! Но стыд испытал, признаю. Искренне раскаяюсь.

2. Отравил соседскую собаку. Лаяла, тварь, по ночам, спать не давала. Раскаиваюсь.

3. Пнул ногой нищего, который просил монетку возле станции. З-А-Д-О-Л-Б-А-Л-И! Раскаиваюсь.

И так далее. Никакого разнообразия: грехи и грешки повторяются и накапливаются, и нет им числа. Каждый размотанный рулончик прикреплен к стене скотчем, а грехи перечеркнуты

красным карандашом. «Помпиован! Прощен! Искренне раскаялся!» Слова в красной рамке — как печати.

1. Не верил в Бога...

Список Питера. Ныне мертвого, но раскаявшегося перед смертью.

Темень. Шаги за спиной. Рулоны грехов на стене и осторожные шаги за спиной. Мне слишком страшно, чтобы обернуться. Я сплю. Я знаю, что сплю, но проснуться не могу, стою и жду, когда кто-то подойдет ко мне сзади и шепнет на ухо: раскайся.

Сон повторялся из ночи в ночь. Джейн волновалась.

— Малышка...

— Барт, ты же знаешь, я не ненавижу, когда ты зовешь меня «малышкой»!

— Прости, дорогая.

— Барт, послушай. Я вижу, с тобой что-то происходит. В конце концов, я — твоя жена. Поделись со мной.

А я не знал, что со мной происходит. Меня трясло от одного воспоминания об этом сне. И Питер... что случилось в тот вечер с Питером? Куда он делся? Неужели сон подсказывает мне?..

Последним Питера видел Руди. Знаменитый Руди, дарящий умирающим успокоение — после смерти мертвых ждут Чудеса Рая. «Чудеса Рая» — зарегистрированная торговая марка Руди — человека, которого больше никто и никогда не назовет «Малышом». Великий человек. Человек года. Человек века. Человек уходящего тысячелетия! Вначале — маленькая фирма, которую мало кто воспринимал всерьез, теперь — одна из господствующих на Земле корпораций. Руди ненавидят больше Билла Гейтса, но пользуются его услугами все, от дворника до президента.

Я вышел в наш маленький яблоневый садик, присел на скамеечку и закурил. Джейн стояла у черного входа и молча ждала.

— Возьму ненадолго машину, — сказал я, затягиваясь. — Хочу развеяться.

— Хорошо, Барт, — кивнула она. — Езжай. Только учти: я буду ждать.

Моя милая Джейн... в тот миг я верил, что не смогу вернуться.

В городе властвовали жара и вялотекущие беспорядки. Жара, воняющая гудроном и потными человеческими телами, началась недавно, а вот беспорядки никак не кончатся уже несколько месяцев. Причем это не обычные беспорядки. Не назовете же вы обычным нападение кроликов на человека. А то, что церковь в районе Шорт-Айленда превратилась в гигантский воздушный шарик? А как вам еноты, питающиеся пластиковыми бутылками? Откуда они вообще взяли, эти еноты? Слава Богу, их сообразили приручить и заставили есть пластиковый мусор.

Очень скоро я застрял в пробке, оставил машину посреди дороги и пошел пешком. Проголодавшись, я заглянул в ближайшую забегаловку. Заказал гамбургер. Гамбургер показал мне сырный язык и закашлялся, как астматик. Я долго держал его в руках, не решаясь надкусить. Миню проходила официантка. Она подмигнула мне и толкнула в плечо:

— В новинку небось?

— Кашливающий гамбургер? Вообще-то да...

— Ешь, не бойся. Шеф сказал, что это эта... имитация жизни. Гамбургеры везде такие. Кроме МакПоппинса. Там гамбургеры плюются.

— Шутите?

— Если бы...

В пригороде, где жили мы с Джейн, в плане «беспорядков» было поспокой-

нее. Хищных кроликов давно никто не воспринимал всерьез, на них охотились даже дети. Впрочем, без защитных масок и газовых баллончиков люди из дома не выходили. Зато и перемен научились не бояться. Говорящее бревно у дома старика Хэнкса? Подумаешь! Писсуар, в котором поселился осьминог? Карандаш-футболист? Ха! Досадные мелочи, не особо мешающие привычному ходу жизни.

В городе бедствие проявляется ярче. Еноты и шагающие световые фары, разумные афиши и свиньи с дырками в спине, как малая часть творящегося безобразия; теперь еще и гамбургеры с сырными языками.

— Мистер, угостите гамбургером!

— Да он сам тебя съест, разве не видишь, пострел?

— Дайте тогда монетку!

— Держи доллар, прохвост.

— Спасибо, мистер!

Постреленок убежал, а я, зажмурившись, съел гамбургер и вышел на улицу. Гудели автомобили, громко играло радио — у каждого свое, жирные еноты глотали мусор и сыто рыгали. Жизнь города, от которой я отвык года три назад. Да что я такое несу? Не таким был город еще в прошлом году. Не было канализационных люков, вежливо открывающихся под ногами, не было подмигивающих с плакатов девушек, не было фарфоровых чашек, вылетающих из окон с криком «Жизнь бессмысленна!» Когда это началось? Почему никто не замечает, что мир меняется? Почему телеведущий вечером говорит, что слухи о трансформирующемся в карликовых роботов картофеле — нелепая ложь, а утром уверяет, что так было испокон веков, просто мы не замечали? Говорит, что мы не хотели замечать, что мир сложнее, чем все привыкли думать, и люди верят в эту белиберду!

Впрочем, разве это важно?

Я иду к резиденции Руди, чтоб поговорить с ним об исчезновении Питера.

На углу пятой и восемнадцатой трезвонил телефон-автомат. Я остановился. Люди проходили мимо, не обращая внимания на звонок. Теперь такое в порядке вещей?

Я зашел в кабинку и поднял трубку.

— Алло!

— Скажи, Джек, ты любишь говорить по телефону? Ведь это приятнее, чем общаться с глазу на глаз, верно? Поэтому ты и бросил жену и примчался сюда...

— С кем я говорю?

Мой собеседник противно захихикал. Я ударил трубкой по аппарату.

— Кто это?!

— Мистер!

Сорванец, которому я чуть раньше вручил доллар, стучал в дверь кабинки.

— Чего?

— Это вы «чего»? Не знаете, что телефонные будки говорят людям гадости?

— Впервые слышу. Разве они нужны не для того, чтоб два человека могли связаться друг с другом?

— Для этого нужны сотовые телефоны, да и то не все. А телефоны в будках портят людям настроение.

Я вышел из кабинки. Пацаненок весело смотрел на меня.

— Ты хорошо знаешь город?

— Отлично, мистер!

— Хочешь заработать доллар?

— Хочу заработать сотню долларов, мистер!

Я заскрежетал зубами:

— Ладна-а-а... Отведешь меня самым коротким путем к резиденции Руди?

Мальчишка перестал улыбаться:

— У вас кто-то умирает?

— Нет. Мне кажется, он уже умер.

— Значит, великий Руди не сможет помочь ему! Разве это не понятно? —

Мальчик ударил ногой об асфальт. — Он помогает только умирающим!

— Что ж, возможно, я найду для него клиента, — сказал я тихо. — Держи сто баксов. Отведешь к Руди?

Мальчишка долго смотрел на сто-долларовую бумажку у меня в руке, а потом, не говоря ни слова, взял ее и сунул в передней карман белой рубашки. Лицо задвинул кепку на затылок и сказал:

— Рядовой Майки в вашем распоряжении, сэр!

Руди отстроил себе роскошный особняк. Что-то вроде дворца шейха. Ковры повсюду, кальяны. Женщин только не видеть.

Руди встретил меня самолично: в накинута на плечи красном халате, с трубкой в пожелтевших от никотина зубах. Руди походил на вышедшего в тираж актера.

— Привет, малыш Барт.

— Здравствуй, Руди.

— Забавно, да? Мы поменялись ролями. Теперь ты — малыш.

Я покачал головой:

— Руди, я пришел поговорить с тобой о Питере.

— Что не так с Питером? Я слышал, он раскаялся.

— Ты убил его, Руди?

Руди вздохнул:

— Малыш Барт... Питер сам убил себя. Гордыня убила Питера.

Руди подошел к окну и сказал, трогая расцветающее розами стекло:

— Я думал, Барт, ты пришел спросить, что происходит с миром. Никто не замечает, что наш мир еще более абсурден, чем раньше, люди мгновенно привыкают к переменам, даже самым идиотским.

— Я не привык к ним.

— Значит, я не ошибся в тебе, малыш Барт. Ты силен духом. Знаешь, чем вызваны перемены?

Я взглянул на ехидно ухмыляющуюся люстру и спросил:

— Твоих рук дело?

— Мне кажется, малыш Барт, — сказал Руди, — что я убил Бога.

Я засмеялся:

— Не строй из себя Ницше, Руди!

Он улыбнулся:

— Возможно, Бог тут совершенно ни при чем. Может, я просто нарушил привычный порядок вещей. Ты никогда не замечал, малыш Барт, что мир кажется слишком предсказуемым? Что бы ни произошло, ты понимаешь, что так и должно быть, или вспоминаешь, что такое уже было. Мир движется по рельсам, и у него нет возможности свернуть. В мире есть своя ниша для искреннего раскаяния, для наркотиков, для Бога... а я нарушил что-то, малыш Барт, подменил раскаяние наркотиком... и ошибка следует за ошибкой. Слышал, в Неваде появились песочные человечки? А в России белки ходят по улицам с наглым видом и грызут орехи... Ожили штампы. Кролики едят людей. Мир сломан, малыш Барт.

Мы долго молчали. В окно залетела муха. Люстра поймала ее длинным липким языком и с аппетитом захрумкала.

— Насчет Питера, Барт... Питер выпил медленнодействующий яд. Сам, без принуждения. Чтоб проверить, сможет ли он противостоять наркотику.

Руди обернулся и с печалью посмотрел на меня:

— Может, чертов атеист Питер попал в рай, а этого не должно было случиться? Может, в рай попадают только на самом деле искренне раскаявшиеся? Может, Бог боится, что в рай попадет какая-нибудь дрянь? А мы запустили в рай убийц и насильников. И эта дрянь убила Бога. Некому стало следить за тем, чтоб логика мира соблюдалась...

За окном проникновенно пели фонарные столбы.

Я прицелился в Руди из пистолета. Он обреченно смотрел на меня.

— Я не могу... — пробормотал я.

— Давай!

Я нажал на курок — БАНГ! — из ствола выскочил белый флажок. Руди упал на ковер, зажимая руками рану в животе. Ярко-зеленая кровь выплескивалась на пол. Я подбежал к Руди, упал перед ним на колени и схватил его за руки.

— Цепляйся за старый мир, малыш Барт, — прошептал Руди. — Ты один из немногих, кто помнит, каким прекрасно-логичным он был... а я... я искренне раскаиваюсь, что уничтожил его. Грядет новая эпоха, и я... я не хотел, чтоб она... просто мечтал спасти людей...

Он замолчал.

— Прошен, — прошептал я, закрывая глаза Малышу Руди, вечному ребенку, который не предназначен для нашего мира, который даже в любви признавался через слово на букву «Ж».

Я поднялся. На стенах висели рулоны туалетной бумаги. Ближайший рулон — с моими грехами. Я подошел к нему и вслух прочитал несколько пунктов из самого начала списка. Прочитанных пунктов хватало, чтоб поднести пистолет к виску и выстрелить. Это был бы логичный поступок.

Но я помнил, что в нашем маленьком домике в пригороде меня ждет Джейн, и поэтому поступил жутко нелогично.

Выкинул пистолет и вышел из дворца мертвого шейха. Остался жить.

Марина Маковецкая Осенний день без рая

Человек, сидящий за столом, едва заметно шевельнулся — или почудилось? Лицо в тени, выражения не разглядеть.

Обстановка вокруг видится неясно, стены колыхнутся, будто застланные туманом. И тихо. До чего же тихо...

Я шагнула к столу. С трудом разлепила губы, но не смогла выговорить ни слова.

— Ты чувствуешь, что я для тебя — как друг, — сказал сидящий. — Как самый близкий человек. И в то же время ты боишься. Нелогично. Разве это страшно — облегчить душу?

Ну же, сказала я себе. Усилие, точно тяжелый камень сдвигаешь с места. И слова полились сами, как поток.

— Помню, утром летела через город, и модуль был переполнен... (Говорю или думаю? Думаю или говорю?) Обычная утренняя давка. И эта девочка, когда я ее случайно толкнула — лицо у нее вдруг стало таким растерянным... Ерунда, конечно. Но вспомнилась другая девочка, Алена, которую мы дразнили в школе. Давно, давно. Как она смотрела на нас — тот же испуг...

Тень так плотна, что не видно глаз сидящего. И все же ощущение пристального взгляда:

— Про Алену ты уже рассказывала. Вспоминай главное.

Да есть ли вообще у него лицо?

— В детстве мы часто ругались с отцом. Я все делала наоборот. Папа

бранил меня за то, что часто лазила в виртуал. Мол, пойдй побегай, для здоровья полезно... Хотел, чтобы стала юристом, поступила в юридический лицей. А я уже тогда мечтала быть программмером. И теперь...

Я говорила, и страх окутывал меня. Не это сейчас было важно, не детство и даже не отец, а другое, более глубокое... глубже, чем хочет узнать сидящий... и вот об этом важном — ни слова. Молчи, молчи. Но могу ли таиться, когда он видит меня насквозь?

— Опять не главное... — мягко сказал безликий.

— Доверься, прошу тебя. Я лишь твоё отражение, ничего кроме. Зеркало, которое сделали люди. Программа. Страшиться тут нечего.

Почему-то пришло в голову, что будь у сидящего лицо — глаза скрывались бы за черными очками.

— Если ты отражение —пусти меня к родителям! — выкрикнула отчаянно, глупо. Сама от себя не ожидала. Впрочем, ведь и крик здесь — это не больше чем мои мысли?

— Я пушу, — человек встал. — Может быть. Если поговоришь о своих сомнениях. О безверии... Подумай — я всего-навсего хочу тебе помочь.

Что-то шевельнулось у него за спиной. Белесое, светящееся.

Крылья?



Страх уходил, растворяясь в малознакомых чувствах — легкость, умиротворение...

— Утром подумала со злостью: вот ввели принудилровку в школе, — виновато проговорила я. — Раз в месяц исповедь... А потом и до взрослых доберутся. Что же это получается — рай как обязанность?

— Я лишь программа, — безликий, похоже, улыбнулся. — Но тебе не кажется, что люди должны чувствовать уверенность в своем завтра? Уверенность в посмертном блаженстве? И разве не на этом строится мораль?

Он знал, явно знал, что мне хотелось услышать!

— Но... человечки в коробочке, — сказала по инерции, словно защищаясь. — Машинный рай...

— А чем это хуже любого другого рая?

— Не знаю, — я медленно качнула головой. — А зачем вообще нужен рай?..

...Мы стояли молча, глядя друг на друга — не помню, сколько времени прошло — за спиной безликого вдруг зажглось белое сияние и, разгораясь, поглотило его — остался только сотканный из света овал — я поспешно прикрыла веки.

И сияющая фигура сказала:

— Прощай. Я буду надеяться, что ты придешь снова. Уже ради себя, а не для родителей.

Он начал читать, будто по списку:

— Владислав и Ирина Самойловы, год первого таинства у обоих — 2067-й, погибли в авиакатастрофе в 2071-м. Последняя запись — за два часа до происшествия. Исповедались за три месяца до гибели.

— Да, — невольно прошептала я.

— Откроешь глаза, увидишь ворота. В них входи. И помни — дается одно свидание на пять лет твоей жизни...

Сияние, пробивающееся даже сквозь веки, погасло.

«Ворота» оказались простой двустворчатой дверью, над которой ярко горела свеча. Створки, кажется, расписаны полустершимся узором. Я подошла к двери и нажала ручку.

Исповедь закончилась.

Мама с папой были давно уж в возрасте, когда решились на первую исповедь. Может, предчувствие... Во всяком случае, прежде они из принципа ни во что не верили — ни в бога, ни в милости государства, ни даже в новомодные виртуальные ухищрения. А неорелигия объединила в себе и первое, и второе, и третье... И потому-то родители порядком огорошили меня, заявив, что хотят обратиться в новую веру.

Странно, но мы почти об этом не спорили. Наверно, оттого, что я уже тогда жила отдельно.

А через четыре года был тот рейс. Когда я обратилась в епархию, мне ответили, что личности моих родителей благополучно проинсталлированы (последнюю запись мама с папой сделали в самолете) и находятся в чистилище, поскольку для рая накопилось слишком много прегрешений, да и с момента исповеди прошло немало времени.

Я долго плакала и чуть не покончила с собой.

Спустя полтора месяца подала заявку на исповедь. Для кого-кого, а для меня вот уж странный поступок... Но другого пути свидеться с родителями, кроме официального, нет.

За дверью было темно. Темнее ночи — настоящей, не освещаемой городскими огнями и притом беззвездной... хотя вряд ли я когда-нибудь видела такую ночь. Абсолютная, безликая тьма.

Сделав несколько шагов, я обернулась. Исчезла ли дверь или просто погасла свечка? Не хотелось возвращаться и проверять.

Куда идти? В пустом пространстве неощутимая опора держит меня. Или, может, нет вовсе опоры — тогда как же я шла, а сейчас стою?

Тишина.

В темноте плывут, возникнув ниоткуда, две тускло светящиеся, прозрачные... тени? Или люди?

— Мама, папа, это вы?

Изображение проясняется, на лицах (я теперь уже вижу лица) слабо проступают черты.

— Как живешь, Алечка? — папин голос звучит явственно, словно он говорит мне на ухо; но не шевелятся губы.

— Я ничего, нормально. А вы-то как?

Слова идут на язык бесцветно-обыденные — других не находилось и в жизни, то есть в реале...

— Мы здесь, спасибо Вышним Силам, хорошо. Всё лучше, чем совсем не быть.

Их голоса сливаются, и уже не различаю, что говорит отец, а что мама. Неправда, в жизни было не так!

— Темно тут, доча. Грустно. Мы молимся и ждем.

Я пытаюсь вспомнить, что знала о чистилище из старых книг (родители

мне мало о своей вере рассказывали). Хотя старохристианские представления в чем-то отличаются, наверное... Вспомнился Данте: таскают каменные глыбы... сидят слепые, с зашитыми глазами. Нет, даже совсем не то.

Мама с папой молчат и — чудится или нет? — слабо головой кивают. Будто в такт своим мыслям.

— А вы?... — начала было я и осеклась. Спросить хотелось: а что вы чувствовали тогда, в последнюю минуту? Когда самолет падал? Но это плохой, жестокий вопрос; да, главное, и бессмысленный: последнее, что они должны сознавать, — запись за два часа до катастрофы. Как обычно, записались вместе — чаще мама напоминала папе, но иногда и наоборот.

Это ведь быстро — сделать сохранение. Всего пять секунд.

Привычный, знакомый мамин-с-папой жест. Всплывает в памяти: мама, разговаривая со мной по видео накануне того рейса, машинально поднесла к виску коробочку-нейроскан и щелкнула клавишей. И точно так же, должно быть, — потом, в самолете...

Нелегко себе признаться, но я не могу до конца поверить: вправду ли передо мной мама и папа? Видны только лица — призрачные, неподвижные... Нет, я верю, верю! И буду говорить с ними как с родителями.

— А что вы делаете здесь? Сидите... ну стойте то есть... и всё?... Чего ждете? Скоро это кончится?

— Через пятьдесят лет — может быть, — произносит мама, я опять начинаю отличать ее голос от папиного. — А может, через сотню. Или через тысячу. Но здесь время идет иначе. Мы разговариваем, если нам становится скучно. Иногда нам разрешается побеседовать с другими, кто находится в этом мире. Еще реже — увидеть издалека рай.

Меня пробирает морозная дрожь.

— И что, отсюда никто не уходит? До срока?

Родители переглядываются.

— Нет, Аля, — отвечает мама. — Никогда не бывало.

Молчат о чем-то? Не хотят пугать? Они и в жизни говорили неправду редко, а уж в чистилище — тем более...

— Мама! Не ври, пожалуйста! Расскажи обо всем! — Приближаюсь, протягиваю руки, будто хочу тряхнуть ее за плечи — призраки медленно уплывают в сторону, не поймав.

Я тяжело вздыхаю.

— Те, кого взяли в рай — они как-нибудь искупили вину? Папа! Ну скажи же!

Ни слова в ответ.

— Или им помогли *снаружи*? Тогда могу помочь и я?

От этой догадки мне становится легче. У родителей, выходит, была самая заурядная, не страшная причина молчать!

Опять безмолвный разговор между мамой и папой — лица на секунду оживляются, быстрый взгляд, кивок...

— Мы иногда встречаемся с другими, — сказал папа. — Обмениваемся слухами. Есть способ говорить и на расстоянии... И вот одну из нас... молодую женщину, у нее было много темных пятен-грехов, такие не отмаливаются скоро... ее забрали наверх Вышние Силы. Отмучилась. А к ней за неделю до того являлся на свидание брат из реала. Мы ничего не знаем, но пошли слухи. Просто слухи.

— Короче, он заплатил за нее, этот брат? Да?

— Тише! — воскликнула мать и снова будто ожила. — А ну перестань, не кощунствуй! Не может быть...

— Мы-то надеялись, — грустно проговорил отец, — ты хотя бы сейчас, после нашей смерти уверуешь... А ты все меряешь деньгами.

— Я думала у вас спросить, — сказала я, — думала спросить, что мне делать. Поэтому что сейчас не знаю, верить мне или

нет... Все так перепуталось. Но теперь важно другое. Если надо заплатить, я узнаю — кому, я заплачу! Я помогу вам.

Отец покачал головой, но ответить не успел.

Наверху вдруг вспыхнула яркая точка-звезда; она быстро приближалась и через несколько секунд выросла в шар, похожий на солнце, но не такой сияющий: при взгляде на него не слепило глаза.

— Это что? — спросила я.

— Конеч, — сказал папа. — Конеч свидания.

— Это рай, — добавила мама. — Ты увидишь его сама. Ненадолго.

Шар... нет, диск, похожий на летающий остров... завис над головой. Горячей влажностью повеяло от него — не обжигающим жаром, а просто теплом, как от домашней батареи. Я пригляделась — я будто была уже там, внутри. Немыслимые краски сверкали и искрились вокруг меня.

Это был пляж. С шелестом набегала волна на песок, смеялись дети, солнце не припекало, а грело мягко, ласково.

А еще это был сад. Ветви гнулись под тяжестью спелых, налитых соком фруктов, и на этих же ветках распустились цветы. И если лечь в высокую траву, поющую песню на ветру, то забудешь обо всех своих хлопотах навсегда.

А еще это было небо, где люди летали среди облаков, словно птицы.

А еще это был город с золотыми шпилями башен и хрустальными мостами через каналы; город, где в стенах домов сверкают драгоценные камни.

И это было все вместе и ничего в отдельности.

Солнечный луч проник в щель между занавесками, и резануло глаза.

Да, солнечный луч. Значит, я открыла глаза, даже не очнувшись окончательно.

Смахнула набежавшую слезу. Осторожно отвела электрод от виска.

Я полужелезу в кресле, рядом жужжит кондиционер, за окном гул пролетающих модулей и флаеров. Старенькие бесцветные занавески кое-как закрывают окно; подоконник обшарпанный. Прилетела муха и нахально села на тыльную сторону ладони — я пошевелила кистью, согнав ее.

Все это — жизнь. Все это мелочи, которых в том мире не хватает.

Чертовы вирт-дизайнеры, концепционисты и художники! Я бы лучше придумать смогла. Да вот беда, не даст никто. Когда любой иной виртуал запрещен, кроме церковного, — тут не развернешься.

Жизнь меняется быстро. Лет пять назад сказали бы мне, что неосакрал настолько войдет в силу... я б не поверила.

И этот рай — лишь плод мечты об абсолюте. Небогатая фантазия, схема... Странно, что эта яркая игрушка так очаровала меня.

Голос из микрофона:

— Александра Самойлова, ваше время закончилось. Подойдите, пожалуйста, в регистратуру.

Надев туфли, я вышла в переднюю комнату и заплатила по счету бледной, мрачноватого вида женщине в черном церковном одеянии, сидящей за столом. Сумма небольшая — неоперковь существует на деньги государства, а не прихожан. Впрочем, для меня сейчас и мелочь играет роль — неизвестно, скоро ли отыщу работу. Конечно, мелочь там или не мелочь, а важнее родители...

А может, наняться в церковные вирт-программеры? Ха-ха. Правда, для этого нужно будет и дальше ходить на исповедь к ангелу — папа с мамой небось обрадуются, когда узнают. Серьезно, буду неплохо зарабатывать... Но отказаться от себя, от свободы и всего, чем дорожу... не слишком ли?

Однако надо ведь как-то жить! И где-то достать деньги, чтобы помочь родителям. Большая сумма, думается...

И свобода — не чересчур ли громко сказано? Я не признаю абсолюта, но хорошо ли это? И не отсюда ли пустота?

Так и не спросила у монахов, что мне решить, хотя думала об этом, отправляясь в виртуал... Не спросила, и ответа не получила. Уж не знаю, послушалась бы или нет. Но разве есть в этом смысл — верить, если себя заставляешь?

Я обнаружила, что уже стою на бегущей дорожке у выхода и здание неоперкви (скупое-официальный и при этом торжественно-пышный стиль) медленно отъезжает назад. Люди окружают меня, скупающие, суетливые, озабоченные. Тинейджер, стоящий впереди, слушает музыку в наушниках: сейчас, когда нормальный виртуал запрещен, ребята лицейского возраста и постарше быстро вернулись к развлечениям начала века.

Мимо проходит парень в солдатской форме — мальчик лет девятнадцати, с короткой стрижкой и подбритым виском, демонстрирующим живленный чип. У меня тоже есть чип, но я не выбриваю висок — это делают только верующие. Парень, ты думал о смерти? И впрямь стоит подумать, если тебя в горячую зону вот-вот отправят...

Небо застилают свинцовые тучи, и на этом пологие светится огненная надпись: НЕОСАКРАЛ — ТВОЙ ВЫБОР! СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО, ИДЕАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ!

Я собралась куда-то ехать? Но куда? Пустота, сумбур в мыслях. Наверно, нужно сначала сойти с дорожки, подумать хорошенько, тогда я что-нибудь решу.

Ни денег, ни работы, ни цели в жизни. Я стою посреди тротуара и ошалело гляжу на людей, которые едут зачем-то на бегущей дорожке. Прилетела и опустилась на асфальт взлохмаченная

ворона, глупо каркнула, повернув голову. Да, вот они — мелочи, и что мне с ними делать?

Парк. Я подумала: «Парк». Пытаюсь собрать воедино разбежавшиеся мысли. Ага, именно: скорее нужно в парк! Зачем — не знаю. Потом разберемся.

Подошла к модулю, как раз севшему на остановку, хотела оплатить проезд... нет уж, лучше отправлюсь на своих двух. Экономить надо.

Главное — добраться. Прийти в парк.

* * *

Ну, и зачем я сюда пришла?

Увидящие листья тихо кружатся и падают — осенняя грусть и сумятица сродни хаосу, который поселился в моей дурацкой башке. Я иду, не разбирая дороги, и вскоре замечаю, что забралась уже в самую парковую глушь, где нет ни кафе и воздушных столиков, ни качелей-каруселей, а лишь могучие стволы каштанов и кустарник. Хотя вон за кустами скамейка, на ней две дамочки в мехах. Полусшепотом разговаривают.

— ...А он мне сказал: приноси пятьдесят тысяч, тогда посмотрим.

— Ну, а ты?

— Ну, а что я? Принесу. Благоверный мой, правда, был скотина порядочная, но все же наследство мне оставил. Пусть ему на том свете лучше будет, а я без него спокойнее вздохну.

«Так. Так! Вот оно, оказывается!» Я слушаю дальше, но ни о чем существенном дамы больше не говорят. Только о муже — о том, как тот выпивал и баб менял, словно запчасти от фляера.

Если бродить по парку без цели, то на много чего интересного набредешь...

Ну хорошо, теперь куда же? А ноги сами несут через кустарник — ветки затрещали, дамы оглянулись и примолкли. Дальше, дальше. Уже по дороге,

мимо скамеек, здесь ларьки показались, снова сталолюдно, началась центральная аллея. Возбуждение нарастает: что такого я сейчас увижу?

Кудрявая Элька сидит перед фонтаном, пристально глядит на меня, пока я подхожу. Откидывает с лица длинную смоланую прядь, выбившуюся из прически.

— Привет, Эля.

— Привет, — она поднимается. За несколько лет моя подруга заметно изменилась: жесткий взгляд, уверенные движения. Стала будто бы выше, чем была. Хотя куда уж расти через несколько лет после института... Повзрослела, значит.

— Все прошло как надо? — понизив голос, спрашивает Элька.

— Все, — машинально отвечаю я, не успев даже удивиться.

Элька, склонив голову, несколько секунд изучающе смотрит на меня и внезапно задает странный вопрос:

— Ты когда в последний раз меня видела?

— Давно... в позапрошлом году. Когда мы отмечали три года выпуска.

— Прекрасно! (Чему тут радоваться?) И не помнишь, как мы с тобой потом встречались, на какие темы разговаривали?

— Нет... Ты растолкуй, в чем суть?

— Пойдем, — она уводит меня снова вглубь парка, и я подчиняюсь, пускай и не понимаю ровным счетом ничего. Вдруг начинает казаться: я вот-вот уясню, что к чему, отыщу ниточку, за которую нужно потянуть, чтобы распутать происходящее... но сразу же это ощущение пропадает.

Под кронами каштанов, у заброшенного туалета, где тихо и полутемно, Элька сгребает в сторону листья и, подобрав сучок, чертит на размокшей от дождя земле крест. Две пересекающиеся линии. Потом — бросив на меня взгляд — ногой, тяжелой подошвой

ботинка стирает рисунок, вминаются в землю бороздки...

И тут словно что-то вспыхивает у меня в голове. Условный знак!

И приходят воспоминания. Все складывается, как мозаика. Эльвира. Ее друзья-нелегалы. То, о чем нельзя знать служителям официальной церкви, и их системному Высшему Разуму, и его программам-ангелам. Наши разговоры. Нелегальный офис с рабочей вирт-станцией новейшего образца.

Поэтому предательством было бы — идти в церковный виртуал с моими обычными воспоминаниями. Поэтому внедрили мне программу, заблокировавшую участок сознания. И оттого же, а еще ради дружбы и из сочувствия, эту штучковину мне продали с огромной скидкой, почти задаром. А теперь — знак, уничтожающий программу.

Голова проясняется, и уходит хаос, становится легко.

Эля косит на меня выпуклым глазом, черная радужка сливается со зрачком.

— Ты как?

— Нормально. Но, Элька...

— Что?

— Я боюсь. Этот, Ангел Смит... не узнал ли он про вас?

— Разве был сбой? Отчего думаешь, что выведал?

— Нет, я ничего не помнила... Только... Эля! Мне было иногда страшно, так страшно!

— И ничего больше?

— Нет. Точно нет.

— Тогда действительно нормально. Мы не раз отправляли людей с подобной программой в вирт, и все сходило с рук. Даже больше скажу, — она подмигивает, — я и сама однажды туда заявлялась. Ух, ненавижу!

Я вдруг ловлю себя на мысли, что внимательно ее разглядываю. Ну, прямо-таки девчонка — ребячество, как в

институте, когда она на лекциях передразнивала преподавателей и, хихикая, забрасывала записочками всю группу. С трудом верится, что Эльке двадцать семь. И еще труднее — что эта Мисс Непосредственность может быть сдержанной, решительной и хладнокровной и всегда, каждую минуту знать: она действует, — и знать, зачем.

— Кто не противостоит, — сказала она однажды, — тот не человек.

А я как же?

Делать порно и стрелялки. Для состоятельных, вроде тех дамочек в мехах. Только богатые сейчас могут оплатить нелегальный вирт. Естественно, большие суммы люди согласны выкладывать лишь за острые ощущения. А как же иначе? Не осталось других жанров.

Ну что, Александра? Нравится тебе такой вариант?..

— ...Не молчи, Алька. Я уже в который раз задаю тебе этот вопрос.

Голос Эльвиры пробуждает меня от полудремы-размышления.

Оказалось, мы сидим на скамейке. Начинает темнеть, людей вокруг почти нет.

— Что ты сказала?

— Я говорю, — не обижаясь, спокойно поясняет Элька, — что тебе остается одно из двух: или к нам, или к ним, к церковным. Нет, из трех — еще идти дворником работать. Сколько ты уже времени живешь на старые сбережения?

Вот то-то: правду в глаза. Вернее, в лоб.

— Да, мне теперь нужны будут деньги. ОЧЕНЬ нужны.

— Тогда решено?

— Почти.

— «Почти»... — передразнивает она. — Ну, приходи завтра по адресу, я тебе объясню что надо. Надеюсь, не раздумашь. И заодно — сначала — проверю твою память, все ли действительно прошло гладко.

Мы встаем.

— Извини, Элька... Я сейчас хочу прогуляться одна.

Она недоуменно вздергивает лохматую бровь, но ни о чем не спрашивает. Чувствует, когда надо помолчать.

— Тогда пока.

Я медленно иду по аллее. Протягиваю руку, и желтый лист ложится на ладонь, одинокий, как я. Таких листьев здесь много, но почему-то мне кажется, что этот — особенный. Господи, ну и чушь лезет в голову!

Итак, я решила. Денег теперь будет много; их хватит, чтобы помочь родителям. Ну, а я? Что мне даст эта работа — не в плане денег, а в ином, более важном плане?

Цель жизни — в противостоянии?

Полусмысл, полумеры. Все лучше, чем ничего. «Лучше, чем совсем не быть...»

Но ведь это же — работа. Моя любимая работа...

...Небольшая комната загромождена аппаратурой, всюду — экраны, экраны. Мы в наушниках и сенсорных перчатках, изредка бросаем друг другу короткие фразы:

— Вот так?

— Нет. Левее клади.

И опять молчание.

В октябре 2076 года Александру Самойлову арестовали вместе с другими нелегалами ее группировки и приговорили к десяти годам заключения. В тюрьме она отказалась принять вирт-сакрал и, таким образом, не могла рассчитывать на амнистию... Говорят, скоро для преступников будет применяться виртуальный ад. Впрочем, это, вернее всего, не более чем слухи.

Нет, не хочу. Мрачновато получается. А насчет ада — вообще мазохизм какой-то...

В октябре 2076 года парламент проголосовал за отмену закона, запрещающего альтернативный виртуал. Год спустя Александра Самойлова прославилась как лучший в России экшен-программер.

Да, или еще круче — секс-программер. Ну, и на кой мне это нужно?..

В октябре 2076 года Александра Самойлова повторно приняла исповедь и окончательно обратилась в вирт-религию.

Ну, а это тем более ерунда.

В октябре 2076 года Александра Самойлова, после долгих терзаний, нашла работу себе по душе, отыскала смысл жизни и обрела себя.

Слишком книжно оно получается. Столько вариантов уже сочинила — и всё стереотипы. Наверняка будет не так.

Иду по аллее, думаю. И листья, подхваченные ветром, шуршат и несутся вперегонки.

Я не знаю, чего требовать от судьбы. Не знаю, каким сложится мое будущее. Но, что бы ни произошло и как бы ни повернулось, я хочу одного — через пять, через десять или пятнадцать лет пусть будет все по-другому, хоть немного иначе, чем сейчас.

Пусть.

Юлия Зоние Седьмое доказательство

*Этот мир облечен в пустоту,
понимаешь, ту,
что внутри и со всех сторон.*

Борис Херсонский «Записки ереснарха-2»

Мальчику было от силы лет одиннадцать-двенадцать. Маленький, тощий, бледное лицо, под глазами синяки. На Земле бы он меня ни за что не уташил, эдакого здорового амбала, да еще и с немаленьким ноутбуком через плечо.

— За кого отработываешь?

Мальчишка вздохнул и передернул плечами.

— Не хочешь говорить — не надо.

За разговором дорога короче, но твои секреты — только твои.

Паренек слул со лба светлую прядку и застенчиво выдал:

— За мамку. Она отца топором убила.

Я присвистнул. Пригляделся внимательней.

— И тебя за компанию?

Мальчишка вздрогнул.

— Нет, что вы. Мамка добрая. Она за меня заступилась. Отец меня бил, ну она топор в сарае схватила — и того. Она не хотела. Я уже позже, в детдоме, от пневмонии...

Все с ним было понятно. Рядовой клиент. Повкалывает еще пару лет, и переведут его мамку в Чистилище. Если, конечно, парень не надумает потом выручать батьку. Я окинул его привычным оценивающим взглядом. Сам я такими делами давно не занимался, но любой из младших сотрудников

ухватился бы за него всеми когтями. Легкое, приятное дело.

Я поправил ремень ноута и взгромоздился пацану на плечи. Тот стоически промолчал, хотя видно было — тяжело.

— Ну что, тронулись?

И мы тронулись.

Не знаю, с чего Данте наш Алигьери вообразил, будто дорога из Ада в Чистилище напоминает удобный, чуть ли не асфальтом крытый серпантин. Как бы не так! Гладкая обидиановая поверхность горы — с моими копытами я бы и сантиметра не прополз. Однако мальчишка поднимался, медленно, но верно, покряхтывая временами под немалой тяжестью. Обо что опирались ноги в стоптанных сандалиях, бог весть. Но он шел. Мне бы здесь ни за что не пройти. На то, впрочем, и было рассчитано.

Я задрал голову, вглядываясь в низкие облака. Из-за них все явственней сочился свет — свет, неприятный моим глазам. Пришлось вытащить из нагрудного кармана очки. Я как раз



полировал платком стёкла, когда малахольный Вергилий замедлил ход.

— Скажите, — маленький возчик подо мной едва ощутимо вздохнул, — а если я за папку отработать захочу — это сколько еще таскать?

Я улыбнулся. Хорошо, что мальчик не видел этой улыбки.

Явившийся сверху был мне неприятен. Я помнил его по парочке недавних процессов. Эдакая серая мышка, трудолюбиво грызущая судьбой заповеданный сыр. Притом что я знал его биографию, и была она довольно красочной. Правозащитник. Пару раз отсидел, был безжалостно бит и полицией, и

толпой тех, кого он пытался защитить. Обыски. Аресты. Психушки. Жена не выдержала и покончила с собой. Сына однажды ночью нашли в проулке с перерезанным горлом и запиской, адресованной папаше, — записка была приколот к левому соску малыша. А папаша все тянул эту лямку, упрямая рабочая скотинка в плену собственных заблуждений. Впрочем, наверху это на-

зывается идеалами. Ему даже не достало сил последовать за женой, и умер он банально, в больнице. Кажется, ему сломали позвоночник, и какая-то добросердечная медсестра отключила систему жизнеобеспечения.

— Здравствуйте, Анатолий.

Мой собеседник опирался на костыль. Глянув на длинную лестницу, ведущую вверх, я мог только позавидовать его мужеству. Верхние услуги перевозчиков не пользовались.

Я заглянул ему в глаза. За тонкой вуалью их вечного показного доброжелательства весьма ясно читалось то, что он обо мне действительно думал. Адвокат дьявола. Защитник насильников и убийц, богатеньких сыночков усталых родителей, вздумавших прогулять наследство еще при жизни — и о, какое веселье ждало их здесь! Да, там, на Земле, я был один из лучших. Как, впрочем, и он.

— Приветствую, Микаэль.

Он чуть заметно поморщился.

— Можете называть меня Майклом. Это ведь привычнее вам, так?

Я посмотрел на его протянутую руку. Пальцы не дрожали. Ладонь узкая, но не слабая. Что ж. Мое пожатие было, возможно, чуть крепче, чем того требуют приличия, однако он и не моргнул.

— А теперь, если мы покончили с церемониями, давайте перейдем к делу.

Он открыл потертую папку. Наверху не слишком доверяли новой технике. Я хмыкнул и шелкнул по клавише, высветив на экране ноутбука нужные файлы.

Грашко Йововиц. С фотографии глядело молодое, но уже изможденное лицо. Глаза в лучиках морщин. Упрямо сжатые губы. Желваки на скулах.

Да, не похож на тех христосиков, что обычно привечают наверху. Светлый взгляд прирожденного убийцы.

— Я бы поставил диагноз уже по физиономии. Он смотрит так, будто готов спалить весь мир. И сожрать пепел.

Майкл-Микаэль слабо улыбнулся.

— Не ожидал от вас такой эмоциональности... коллеги. Мы судим не по лицам.

— Да, понимаю. Что ж...

Я развернул ноут экраном к нему.

— Вот фотографии. Будете смотреть?

Глаза моего собеседника потемнели.

По мере того, как он пролистывал новые изображения, вертикальная морщинка на его лбу становилась глубже. Немудрено. Верхние не любят такого. Если честно, и я от этого фоторепортажа был не в восторге.

Маленькая горная деревушка. Фотограф, параллельно работающий на западный телеканал — уж не Континентал Джеографик ли? — особенно постарался запечатлеть изломанную линию хребтов и ползущий вверх по склонам кустарник.

Рассвет. Длинные тени тополей. Ветки крайнего тополя обуглены — как видно, пожар перекинулся и на деревья. Дымящиеся тряпки. Мусор. Изломанный черный зонтик на первом плане. Ближе. Среди обгоревших камней бродят военные в форме НАТО. Голубые береты миротворцев. Единственное пятно цвета в этом царстве серого и черного. Ближе. Обугленная рука. Почерневший железный костыль. Черное и красное, задранные к небу копытца овцы. Скрюченное тельце ребенка. Рядом его мать, остатки цветастого платка странно сплелись с почерневшей кожей. Женщина в темной косынке: мусульманка. Рвется из рук военных, рот перекошен в крике — нашла кого-то из своих? За сгоревшим сараем гора трупов. Этих расстреляли, но почему-то не кинули

в пламя, оставили тлеть на жарком августовском солнце. Мухи. Снова бьющаяся в истерике женщина. Пустые дома деревушки. Скользящие по площади тени облаков — пока шла съемка, время перевалило за полдень.

— Впечатляет?

Микаэль потер переносицу и взглянул на меня.

— Зачем вы мне это показываете?

— Человек, который ответственен за уничтожение деревни, находится у вас.

Правозащитник поглядел на меня как на чокнутого, а потом медленно покачал головой.

— Этого не может быть.

— У нас есть сведения. Свидетельские показания. Не угодно ли изучить?

Я вынул из того отделения сумки, где обычно обретаются провода от ноутбука, пачку листов и передал ее через стол.

Микаэль мельком проглядел бумаги и закрыл папку. Он побарабанил пальцами по столешнице и раздумчиво произнес:

— Послушайте. Вам отлично известно, что это невозможно. В силу определенных причин... определенных физических законов, если вам угодно... виновник подобного...

Он старательно не глядел на экран.

— ...просто не мог попасть к нам. Очевидно, что господина Йововица оболгали.

Я обаятельно улыбнулся.

— Майкл, друг мой. Вам отлично известно, что в силу определенных... хм-м-м... физических законов... проходящие по нашему ведомству не могут лгать. Я предпочел бы устроить очную ставку. Когда вам будет удобно доставить господина Йововица на нейтральную территорию?

Микаэль не смотрел на меня. Он смотрел в окно, перечеркнутое частой решеткой: серые квадратики, черные

отрезки. Даже этот скучный свет был для меня слишком ярким.

— Боюсь, мы не сможем вам посодействовать. Грашко Йововиц не спустится вниз.

— Ему необходима помощь? У нас есть несколько...

— Ему необходим покой.

Голос правозащитника стал неожиданно жестким.

— Он достаточно настрадался при жизни. Вдобавок мы в курсе, насколько нейтральна эта территория...

— На что вы намекаете? Всякий находящийся здесь отбывает срок заслуженного наказания...

Микаэль быстро взглянул на меня и отверг глаза.

— Я не собираюсь соревноваться с вами в казуистике, да мне это и не по силам. Меня уполномочили сделать вам встречное предложение. Мы готовы принять вас или вашего свидетеля наверху.

Я засмеялся.

* * *

Упакованный в бутылку из непрозрачного стекла свидетель давил мне на поясницу, безобразно распирая карман штанов. Как Прик Вендерс, мой непосредственный начальник, дал добро на эту авантюру — уму непостижимо. Неужели их действительно так заинтересовал несчастный убийца Йововиц? Голос в трубке был чертовски настойчив:

— Мне нужен этот парень, Анатолий. Если тебе придется для этого обзавестись крыльями и удостоверением Михаила-архистратига, делай. Мне неважно, как ты добудешь его, но ты делаешь это и принесешь мерзавца упакованным и готовым к употреблению. Много времени это занять не должно, а я тебе пока выпишу двухнедельный отпуск и курсы реабилитации. Если понадобятся, конечно.

Еще как понадобятся.

Я сидел, судорожно вцепившись в плечи своего носильщика. Странно. Сидеть на мальчишке было довольно удобно, притом что парень не доставал и до плеча Микаэля. Мешала даже не хромота правозащитника — хотя при каждом шаге я съезжал вправо и вынужден был цепляться все сильнее, — а проклятое чувство неуверенности. Мне казалось, что еще секунда — и он стряхнет меня вниз, и я загремлю по скольким ступенькам... никогда прежде не замечал у себя страха высоты.

— Еще немного.

Я крепче зажмурил глаза. Проклятый хромой урод! Хотя бы он не споткнулся...

Микаэль тяжело дышал, будто с каждой ступенькой подъем давался ему все труднее. Логично, учитывая, что он тащил на себе. Насколько же праведен был негодяй при жизни, если сейчас он способен... В эту секунду облака расступились, и в глаза мне сквозь мгновенно опрозрачившиеся стекла очков ударил такой чистый, такой свирепый и неистовый свет, что я закричал от боли и выпустил когти. Плечи Микаэля задрожали, и я ощутил, что соскальзываю — а затем на меня рухнула благословенная темнота.

* * *

Сумрак. Прохладная повязка на глазах.

— Вам уже лучше?

Я резко сел, так что полотенце соскользнуло с моего лица и шлепнулось на колени. С трудом фокусируя взгляд, я осмотрелся. В глазах все еще плясали цветные круги, но все же обстановку комнаты разглядеть удалось. Потертый диван, на котором я лежал, стол и два простых деревянных стула. Небогато. Ставни, слава всему сущему, были плотно притворены. Неяркий

электрический свет. Шадящая атмосфера. Мда.

Я обернулся и встретился взглядом с правозащитником. Тот стоял в изголовье со свежим полотенцем. С полотенца капало на пол. Я автоматически указал вниз и сказал:

— Капает.

Этому полу, впрочем, уже ничто не могло повредить. Я усмехнулся:

— Надо как-нибудь пригласить вас в гости. Интересно, понравится ли вам моя квартира.

— Я бы навестил вас с удовольствием, но спускаться мне даже труднее, чем подниматься.

Все понятно. Проклятый сухарь.

Я покосился на выступающие на плечах Микаэля горбки перевязок. Их не мог скрыть даже толстый свитер.

— Здорово я вас отделал? Извините, это от неожиданности.

— Ничего страшного.

Он вдруг улыбнулся.

— Однажды мне по делу пришлось заглянуть в Лимб, и я наткнулся там на гарпий. Поверьте, ощущения были на порядок более сильные.

Я представил это зрелище и не смог сдержать ответной улыбки.

* * *

Очную ставку мне устроили в тот же день. Наяву Йововиц намного более походил на Христа, чем на фотографа. Возможно, тому немало способствовала негустая светлая борода и инвалидное кресло.

— Градовцы?

Он нахмурился.

— Маленькое белославское село. Как раз на границе Требской Краины. Вы проходили там с отрядом летом девяносто шестого года.

Герой войны за независимость либо был прирожденным актером, либо сжигал деревеньки каждый бо-

жий день. Наконец выражение его лица прояснилось.

— Да, Градовцы. Маленькая такая деревушка. Помню. Там к нам присоединился отряд Лешка Ставойты. Мы еще здорово выпили по этому случаю...

Он рассеянно улыбнулся.

Я вздохнул. Когти так и чесались. Внизу и даже в Чистилище — прав был Микаэль, ох, прав — мы бы с ним так не церемонились.

— Значит, вы абсолютно не помните, как заперли более сорока жителей деревни в сарае неподалеку от мечети и сожгли, а остальных расстреляли?

Удивление в светлых глазах было подлинным.

— Вы ненормальный?

Я выставил на стол бутылку. Проклятый Ставойта даже здесь, в подвале, не желал вылезать. Голос его из-за стекла звучал приглушенно.

— Лешек Ставойта, пятьдесят девятого года рождения, поселок Друзь?

Бутылка поддакнула.

— Опишите, пожалуйста, в подробностях, что вы нашли пятнадцатого августа девяносто шестого года на месте вашей предполагаемой встречи с левым командиром Йововицем.

Бутылка заговорила.

Я вышел покурить. Микаэль вышел следом за мной. Он глядел на меня с сожалением.

— Гаденыш все отрицает.

— Не смейте называть Йововица гаденышем. Молчание — его право.

Я поглядел в комнату сквозь тонированное стекло. Противоположная сторона была непрозрачна. Интересно, откуда у них тут специально оборудованные комнаты для допросов? Или не так все гладко в датском королевстве?

— У нас есть кадры спутниковой съемки. В село вошел отряд численностью около тридцати человек. Один бронетранспортер. Это соответствует тому, что было на тот момент у Йововича. Других отрядов, кроме его и Ставойты, в округе не было. Мы знаем, что Ставойта этого не делал. Вы видели пленку.

— Там не видно лиц.

Я обернулся и уставился на правозащитника. Тот и не поморщился.

— Скажите... Вы серьезно полагаете, что можно стать героем войны, не совершив не одного противоправного — греховного, по-вашему — поступка?

Микаэль пожал плечами.

— Срок ваших полномочий истекает послезавтра. На вашем месте я бы поторопился.

Я, наверное, уже в двадцатый раз прокручивал запись допроса. На столе передо мной стояла недопитая чашка чая — любезность старины Майкла. К предложенному им же печенью я не притронулся. Если честно, мне серьезно не доставало хорошего антрекота и бутылки вина. Две недели отпуска и курс реабилитации... К черту, плевать на курс. Хороший санаторий, девочки, алкоголь. Я сжал голову руками и уставился на ноут. Что-то тут было...

— Несовпадение в деталях.

Я обернулся. Правозащитник стоял за моим плечом и пристально смотрел на экран.

— Перематывайте немного назад. Так. Слышите? Ставойта утверждает, что видел следы ног и протекторов только на дороге, ведущей к перевалу. По версии Йововича, они пришли из долины. Где ваша спутниковая запись?

Я лихорадочно защелкал по клавиатуре. В коридоре хлопнула дверь, застучали шаги, и детский голос позвал:

— Папа! Пап, ты дома?

Тяжелые шторы были надежно задернуты, и — наверняка — опущены были за ними жалюзи, но я все же время от времени с опаской поглядывал на окно. Мы втроем сидели за столом и хлебали суп. Скучный холостяцкий рецепт, без всяких излишеств: картошка, морковь, лук, макароны. Сверху плавал одинокий капустный лист. Пацану, впрочем, нравилось. Он энергично болтал в супе ложкой, дрыгал под столом ногами. На вид ему было меньше десяти, и все же постарше, чем должно бы быть. Лицо бледное, но гораздо более оживленное, чем у моего маленького проводника. Младший сын правозащитника. Тот самый, с запиской.

Паренек отнюдь не смущался моим присутствием и то и дело зыркал на меня поверх тарелки. Отец, похоже, сделал ему в коридоре внушение, однако ко второму блюду (тушенные с рисом овощи) пацан не выдержал и с деланным равнодушием поинтересовался:

— Дядя, а вы из Ада?

Микаэль возмущенно цыкнул на сына. По-моему, зря. Откуда еще может явиться двухметрового роста хлыщ в костюме с иголочки и с длинными вертикальными зрачками?

— Вы насчет мамы?

А вот этого вопроса я не ожидал. Выражение лица Микаэля стало совсем свирепым, а я по-новому взглянул на паренка. То ли заметив мое профессиональное любопытство, то ли утомившись выходками сына, папаша с нажимом сказал:

— Бени, ты наелся? Иди делай уроки.

Мальчишка неохотно слез со стула и поплелся в соседнюю комнату. Я вполосительно заломил бровь.

— А как вы представляли Рай? Зеленые кущи, херувимы с арфами?

— Я не думал, что здесь ходят на костылях. Или разъезжают в инвалидном кресле.

Микаэль разлил кофе по чашкам. Рука его слегка дрожала.

— Это память, Анатолий. Боль и память. Вам не понять — но это то многое, что у нас осталось.

Он помолчал, потом скупно улыбнулся.

— Бени ходит в школу. Да, в школу. Здесь никто его не обидит. Ему есть с кем играть. Он даже подрос немного. Медленней, конечно, чем его брат... но, поверьте, это все, о чем я мечтал. Что же касается Марии... Я знаю, как Бени хочет увидеть мать. Но и он знает, что это невозможно, так что...

— И вы ни разу не пробовали?.. Я не предлагаю вам злоупотребить служебным положением, я просто мог бы поговорить кое с кем из наших...

— Нет.

И снова мне было непонятно — то ли этот сухарь не хотел нарушать правила, то ли он так и не простил не вовремя ушедшую жену.

Я трижды прокрутил пленку со спутника и чуть не разнес несчастный ноут. Конец записи исказили помехи, но начало было вполне отчетливым. Отряд шел из долины. Из долины! Это мог быть только Йововиц. Я еще раз прослушал показания Ставойты. Увидели дым. Зашли в деревню. Обнаружили пожарище. В живых то ли и вправду никого не оказалось, то ли добили раненых — тут Ставойта немного юлил. Вышли из деревни и направились в горы. Наткнулись на солдат Йововица в десяти километрах выше по склону. Те о пожаре ничего

не говорили, на расспросы отвечали с неохотой.

— Ну он это! Он, он!

Как же, прах меня побери, негодяй очутился в Раю? Я поднял документы по делу и вновь принялся терзать шевелюру — все спутники Йововица были здесь. Все как один. Мать, жена — тоже тут, но это-то как раз неудивительно. Однако компания палачей, хладнокровно уничтожившая больше полусотни невинных? Бред.

Микаэля я, кажется, разбудил. Он вышел из комнаты, подслеповато шарясь и шлепая огромными не по размеру тапочками. Халат на тощей груди распахнулся, и я успел заметить неприятного вида шрамы. Проследив мой взгляд, правозащитник запахнул халат и сухомерно поинтересовался:

— В чем дело?

— Мне нужно поговорить с этими людьми.

Я протянул ему список. Микаэль даже смотреть не стал.

— Нет. Достаточно и того, что мы дали вам попросить Йововица.

— Но почему?..

— Нет.

Вероятно, я выглядел оглушенным — по крайней мере, он смягчился.

— Поймите, Анатоль. У этих людей была нелегкая жизнь. Хотя бы здесь они заслужили покой. Камеры... Допросы... Да посмотрите на меня. Думаете, мне приятно было бы, если бы такой, как вы, — сытый, холеный молодчик — удобно расположился бы в кресле следователя и по-хозяйски принялся копать в моих воспоминаниях? Мне хватило этого внизу. Поверьте, даже меня от вас тошнит, хотя и уже успел попривыкнуть. Здесь вам не место, и мучить этих людей я не дам.

Он постоял еще с минуту и, не дав давшись от меня ответа, ушел, плотно притворив за собой дверь.

К утру глаза у меня начали слезиться. Я прокрался в ванную, но глазных капель не обнаружил. На обратном пути мне показалась, что дверь детской приоткрыта. Когда я проходил мимо, вглубь комнаты шарахнулась маленькая тень.

Утро приветствовало меня головной болью и полоской жемчужного цвета под жалюзи. Я запаниковал и занавесил окно одеялом. Стало спокойней. Мой свидетель в бутылке дремал, оттуда доносилось мерное похрапывание. На кухне засвистел чайник. Я пошел за лучшим не видясь лишний раз с Микаэлем и его отпрыском и завтрак пропустил.

В результате моих ночных бдений картинка сложилась странная. Я проштудировал все, что имелось у нас на Йововица и остальных членов его отряда. До злополучной истории с Градовцами это были обычные разбойники — там заварушка с солдатами НАТО, тут расстрел заложников, ничего, понятно, не доказано. Участвовали они и в штурме Трижницы, и опять — никаких записей, кроме скудного списка потерь. Зато после Градовцов... я протер бедные свои глаза. Збысел Крайнович после объявления всеобщей амнистии стал известным скульптором. Трежко Малец — получил стипендию от Женевского университета. Премия Брегера за исследования в области ядерной физики. Бражко Спас — нейрохирург. Свен Стефенсон, единственный не-белослав в их компании, вообще отправился в Палестину, постригся в монахи и вскоре заделался настоятелем монастыря молчальников в Латруне. И, наконец, сам Йововиц. Для начала он объединил разрозненные отряды боевиков в регулярную армию, но вместо

того, чтобы огнем и мечом пройти по стране, выжигая иноверцев — а этого-то все и ожидали... он инициировал мирный процесс. Он первым сел за стол переговоров — находясь в положении, когда мог бы диктовать любые условия, он пошел на уступки. И это окупилось, о, как это окупилось! Примиритель сторон, спаситель нации, кандидат в первые президенты независимой Белославии. И да, Йововиц наверняка стал бы президентом, если бы чокнутый студентикшо не встал на дороге правительственного кортежа и не выстрелил в тонированные стекла ехавшего вторым джипа. Первая пуля убила водителя. Вторая прошла спинку кресла и засела в четвертом шейном позвонке Йововица. Третья разнесла ему череп. Спас умер через десять лет после пожара в Градовцах. Малец — через двенадцать. Крайнович и Стефенсон протянули по пятнадцать лет. Йововиц не прожил и трех. Все они не дожили до старости. Все очутились здесь.

Я захлопнул ноут и выглянул в коридор. Прислушался. В комнатах царил тишина. Кажется, хозяев дома не было. Тишком-бочком я подобрался к телефону, стоявшему в прихожей на небольшой тумбочке. Древний как мамонт аппарат был покрыт слоем столетней пыли. Я вытащил из тумбочки телефонную книгу и принялся изучать номера.

Через пятнадцать минут на коленях у меня лежал аккуратный список. Две фамилии — жены и матери Йововица — стояли сверху. Рядом я отметил адреса. По счастью, обе жили неподалеку, в двух или трех кварталах отсюда. А вот остальные... Сегодняшний день положительно был днем сюрпризов. Все пятнадцать членов отряда, о которых у меня были хоть какие-то сведения, проживали по одному адресу в центре города. Тюр-

ма? Мои пресветлейшие коллеги засадили героев войны в тюрьму? Или это какой-нибудь санаторий для смятенных душ? Я пожал плечами. После вчерашней комнаты для допросов я уже ничему не удивлялся. Оставалось понять, как мне до них добраться. Среди белого дня, без машины — да и есть ли здесь машины кроме той, что доставила меня прошлым вечером к допросной?

В прихожей я обнаружил трость, принадлежащую хозяину. Трость была старая, растрескавшаяся, набалдашник ее блестел не от лака, а от долгого пользования. Я протер набалдашник платком. При всей ее неприглядности, трость мне годилась. Из кармана пиджака я достал темные очки и, помолвившись всем правнукам Азраила, нацепил их себе на нос. Прогулялся по прихожей, для тренировки обстукивая тростью встречаемые предметы, и направился к двери. Прикоснувшись к дверной ручке, я закрыл глаза. До калитки я как-нибудь дохромаю, а там — неужели сердобольные прохожие не помогут бедному слепому... бесу? Я отогнал эту мысль, храбро надавил на дверную ручку и шагнул за порог.

По инерции я успел сделать ровно пять шагов. Я спустился с крыльца и почувствовал, как хрустит под ногой гравий садовой дорожки. Затем свет пробился сквозь стекла и сквозь веки, и все затопило красным, невыносимым, жгущим. Я заорал от боли и грохнулся на землю. Палка и очки отлетели в сторону, и некоторое время я ползал, мучительно пытаюсь их нащупать. Я, наверное, умер бы там — если бы чья-то спасительная рука не схватила меня за шиворот и не подтолкнула бы вперед, несильно, но настойчиво. Я заполз на крыльцо (горячий бетон опалил мне руки) и головой протаранил дверь. В прихожей я попробовал открыть глаза,

но под веками плясали только разноцветные пятна. На четвереньках я поскакал в ванную. Пару раз наткнулся на стену, стукнулся плечом — и все же нащупал благословенно прохладный край ванны, гладкий фаянс раковины и железный вентиль крана. Я включил холодную воду на полную мощность и с головой нырнул в ледяной рай.

Когда спустя пару минут чехарда на моей роговице утихомирилась и боль в висках чуть приутихла, я решил оглядеться. С выцветшей плитки стекала вода. Я сидел в немаленьких размерах луже, цепляясь за край ванны. По полу тянулись грязные следы, пиджак был безнадежно испорчен и напоминал размокшую сигаретную пачку. А у порога стоял мой спаситель и насмешливо улыбался.

— Бени, — выдохнул я, — почему ты не в школе?

— Ты следил за мной?

Боги, у меня никогда не было детей — оно, в общем, и к лучшему. Будь Бени моим сыном, я бы наверняка вытянул его ремнем.

Мальчик не был смущен вопросом. Он коротко кивнул — так, что темные кудряшки рассыпались по широкому лбу. Вырастет упрямым, мимолетно подумал я, и тут же себя одернул.

— Зачем? Ты мне не доверяешь? Думаешь, я сделаю что-то плохое?

Я бы не удивился согласию, но парень отрицательно помотал головой.

— Тогда в чем дело?

Бени сел на ванну и задумчиво стукнул по ней ногой. Чугун отозвался глубоким гулом.

— Вам надо выйти, да?

Я подумал и кивнул.

— Я могу вам помочь.

Будь я здешним, я бы наверняка умилится и потрепал малыша по голо-

вке. Однако здешним я не был, поэтому сразу спросил:

— Что ты за это хочешь?

Парень еще раз пнул ванну и серьезно сказал:

— Я вам помогу, а вы поможете маме.

Мопеда или даже велосипеда у Бени не было. Похоже, здесь все ходили пешком.

— А если далеко? Школа на другом конце города? Или к друзьям заскочить?

— Здесь все близко. Надо только знать, куда хочешь попасть — оп — и ты уже там.

Я позавидовал. У нас все дороги длинные и, как правило, лишены приятности. Зато с гужевым транспортом нет проблем.

— А ничего... хм-м... более подходящего... у тебя не найдется?

Бени помотал головой и дернул мое такси за веревочку. Я с опаской опустился на сиденье большой красной пластиковой машинки. Ноги у меня свешивались по обе стороны, а руль болезненно упирался в живот, однако, как ни странно, игрушка не развалилась.

Очки мальчишка подобрал в саду. Поверх очков я намотал два полотенца и старую простыню, а на все это накрутил одеяло. Со стороны это, должно быть, здорово напоминало пожилую арабку, спешащую к вечернему намазу. Очень крупную арабку. Бени вывел меня на крыльцо. Я с ужасом приготовился к боли, но полотенца и одеяла отсекали большую часть света, оставив слабое красное свечение под веками. Маленькая рука крепко вцепилась в мое запястье. Бени осторожно помог мне усесться. Я поджал ноги как можно выше. Пластиковый корпус подо-

мною дрогнул, колеса скрежетнули по гравию.

— Поехали!

И мы поехали.

Город был странно тих. Я привык к вечному шуму Нью-Йорка, к визгу Фриско, к вокалу Парижа и крещендо римских улиц. Я привык к неумолчному гулу, протянувшегося над нашей бездной, к лязгу и скрежету Чистилища. Здесь было тихо. Шарканье ног. Бег, шлепки легких сандалий. Смех, детские голоса, негромкий разговор взрослых. Шорох колес машинки. Ветерок поигрывал моей чадрой... кажется, я задремал.

— Приехали. На табличке написано «Госпожа Фани Йововиц».

Мать. Отлично.

— Это большой дом?

— Нет, не особенно. Меньше нашего.

— Хорошо. Помогите мне войти.

В комнате у старушки была старая плюшевая мебель и клетка с попугаем. Госпожа Фани любезно задернула шторы, так что я избавился от своего маскарадного костюма и остался только в очках. Мог бы снять и их, но мне не хотелось пугать хозяйку.

— Ах, и у вас большие глаза? Я уже столько лет говорю, что мне должны выписать очки посильнее, но мой окулист уперся и ни в какую — говорит, носите старые. А у них дужка поломалась, видите. Попрошу Грашека купить мне новые, эти ведь он мне привез еще пять лет назад, а я сказала — куда мне черепаховую оправу, а он — нет, мама, возьми.

Старушка спохватилась и кинулась отодвигать кресла от стола.

— Присаживайтесь. Хотите чаю? Я недавно испекла ореховый пирог, и у меня остались вчерашние штрукли...

— Нет, спасибо.

Я прокашлялся. Госпожа Фани мелко закивала. Бени застыл перед буфетом, завороченно разглядывая кувшинчики из богемского стекла.

— Как хотите, но я все же приготовлю чаю для мальчика, чтобы он не скучал.

Попугайчик в клетке подпрыгнул и отчетливо сказал «Бражка».

Когда Бени был надежно занят штруклями, оказавшимися чем-то вроде рулета, я уселся в плетеное кресло напротив старушки и развернул записную книжку. Копыта я на всякий случай спрятал под низкий кофейный столик.

— Грашек? Хороший мальчик. Вы, наверное, из газеты? Ко мне часто приходили из газеты, еще когда я жила в старом доме.

Похоже, госпожа Фани была малость не в себе и слабо представляла, какие бездны и выси отделяют ее от «старого дома».

— В детстве он был шалун. Соседи даже жаловались иногда, особенно пани Гражина, эта важная полька. Дети прозвали ее пани Вражиной, и, прости господи, я всегда смеялась — до того это было похоже. Она терпеть Грашека не могла. Говорила, что он повесил ее кошку — подумайте только, наплевисти такое. Все потому, что Грашек не здоровался с ней на лестнице. Ну так он не знал польского. Нелзя же требовать от мальчика, чтобы он выучил чужой язык только затем, чтобы здороваться со сварливой старухой.

— Да, он родился в шестьдесят третьем. Помню, он был таким маленьким, врач в больнице сказали — не выживет. А мой муж — Ладош был еще жив тогда — сдвинул брови вот так и говорит: как не выживет? Мой

сын будет богатырем! И он был прав, бедный, бедный, он так и не увидел, каким красивым мальчиком вырос наш Грашек.

— В девяносто шестом? Нет, не скажу, что он особенно изменился. Он всегда был славным, а что иногда дрался с соседними мальчишками — ну так все дети дерутся. Хотя постойте... Ах, вспомнила. Пани Гражина перестала жаловаться. Да-да, она пришла ко мне и так и сказала: «Ах, ваш Грашек такой вежливый мальчик. Встретил меня на лестнице и поздоровался, так и сказал: «Dzien dobry, пани Гражина!». А я ей: «Видите, я вам говорила!»

Ксения Йововиц работала в кафе. Как и у госпожи Йововиц, здесь никто не смутился моей просьбе опустить жалюзи. Посетители как ни в чем не бывало продолжали пить свой кофе и листать утренние газеты. Странно, насколько здесь все были спокойны — у нас и духу бы их не осталось, стоило им хоть издали заметить эмиссара света. Хозяйка кафе любезно улыбнулась и сказала, что Ксения поговорит со мной в подсобной комнате.

На этом, впрочем, приятности и кончились. Ксения была явно не рада меня видеть. Эта худенькая женщина (как, работая в пекарне, она сохранила такие хрупкие формы?) с бледным лицом и блестящими кудрявыми волосами беспокойно прятала руки под фартуком и старалась не смотреть мне в глаза.

— Грашек? Вы ведь не хотите... вы ведь не можете его забрать?

Я посмотрел на высокий лоб с желтоватыми теньями у висков и решил быть честным.

— Пока никто никого не забирает. Мне надо кое-что узнать о вашем

муже... О бывшем муже. Вы ведь развелись незадолго до того, как он погиб?

Ксения кивнула. Глаз она так и не подняла.

— Мне хотелось бы узнать, почему. Согласитесь, это странно. Ему как раз в тот момент нужна была ваша поддержка. Кроме того, он сделал такую оглушительную карьеру. Неужели вам не хотелось разделить его славу?

Ксения мяла передник, терзая посыпанную мукой ткань.

— Почему? Что произошло? Он плохо относился к вам, избивал или...

— Что вы!

Женщина наконец вскинула глаза. Они были карие, спокойного каштанового цвета. Морщинки в углах были едва заметны.

— Наоборот.

Я ободряюще улыбнулся и спросил как можно мягче:

— Наоборот? Что вы имеете в виду?

Губы Ксении задрожали.

— Видите ли. Вы, наверное, знаете... Да, он бил меня. Тогда, еще до... До того, как он вернулся в город, до начала войны. У нас должен был быть ребенок. Мальчик. Нет, я не виню его, я просто поскользнулась...

Я ушам своим не верил. И это герой, праведник, почти святой?

— Но, знаете, все изменилось. Когда он вернулся, он стал совсем не таким, как раньше. Ласковым. Добрым. Он дарил мне цветы, водил в театр. Мне было очень хорошо, правда... Только...

Я ободряюще кивнул.

— Только он не был Грашкой.

Маленькая женщина вынула руки из-под передника, закрыла лицо и расплакалась.

— Нам правда нужен этот адрес?

Я ни черта не видел под полотенцем и одеялом. Мой маленький возница подергивал за веревочку. Голос его звучал растерянно.

— Да. А в чем дело? Что там такое?

— Это высокий белый дом. Очень красивый, только он за забором.

— Ты видишь ворота?

— Да, большие золотые ворота. Рядом с ними стоит ангел.

— Кто?!

— Ангел. У него белые крылья и длинный меч. И он смотрит на нас.

— Так. Пошли-ка отсюда.

И снова я сидел на диване, и снова с полотенца капала на пол вода. Голова у меня немилосердно болела. Напротив, за столом, угрюмо хмурился Микаэль.

— Вы нарушили все возможные полномочия. Сегодня же вечером я вас доставлю обратно.

— Как бы не так, дружок.

Слова давались мне с трудом. Лицо распухло. Я и не подозревал, что злобный свет достанет меня даже под слоем тряпок.

— Я вам не дружок. А то, что вы сделали с моим сыном...

Тут мое терпение лопнуло. Я вскочил. Полотенце шлепнулось на пол. На секунду мне показалось, что Микаэль испуганно подается назад — но нет, это просто комната качнулась в моих глазах. Я устало опустил на тощие диванные подушки.

— Что я с ним сделал? Нет. Что вы с ним сделали. Парень готов на все, чтобы увидеть мать. Он готов заключить сделку с дьяволом, черт побери! А вы кормите его байками о терпении и справедливости. Не всем быть святошами, защищающими любого убогого и калечного, любого дешевого крикуна — но не способными помочь

собственной жене и ребенку. Нет, вы лучше будете шкандыбать на своих дурацких костылях, будто ей в Чистилище от этого легче...

В первый раз я увидел в его глазах боль, живую человеческую боль. Неужели даже у этой Немезиды с костылями есть сердце?

— Вы не имеете права...

Он поднес ладонь ко лбу. Я испугался, что ему станет плохо. Микаэль слабо отмахнулся от моей попытки поддержать его и налил в стакан воды. Рука у него дрожала, стекло звякало о стекло. В графинной пробке плясали электрические зайчики.

— Чего вы хотите?

— Я хочу допросить Йововица по нашим правилам. Не отворачивайтесь. Вы знаете, что по-другому мы не добьемся правды. Я хочу понять, что случилось в Градовцах в тот день, почему Йововиц и другие так изменились, почему, наконец, их держат у вас под охраной. Если вы знаете ответ, лучше скажите мне сейчас. Потому что я сегодня вечером уйду, но вместо меня пошлют другого, третьего, сотого, пока мы не узнаем истину. И вам не будет покоя.

Статуя Немезиды опустила стакан на стол и, помедлив, кивнула.

Сегодня Йововиц выглядел гораздо более изможденным. Возможно, его утомили поездки. Светловолосая голова опиралась о спинку инвалидного кресла. Кадьяк остро торчал на тощей шее, напоминая застрявший в плоти обломок стрелы.

— Что вы хотите со мной сделать?

Микаэль, стоящий за его креслом, вздрогнул. Даже мне стало не по себе от этого усталого голоса.

— Ничего страшного. Вам не будет больно. Просто смотрите мне в глаза.

Он покорно кивнул.

Когда впаянные в серое зрачки сузились до размеров точки, я сказал Микаэлю:

— У вас есть последняя возможность уйти. Боли он не испытает, но со стороны это выглядит неприятно.

Правозащитник тихо ответил:

— Вы полагаете, я брошу его сейчас?

Я не настанвал. Обойдя стол, я подошел к Йововицу и положил руку ему на грудь. Зрачки последственного резко расширились, затопив глаза черным. Тело его содрогнулось. Микаэль подался вперед — но я уже погрузил пальцы глубоко, разрывая мышцы и кости. Дернул, выламывая ребра. Грудная клетка Йововица распахнулась, как дождавшийся солнца цветок — и я сжал в ладони то, что у живого человека было бы сердцем, а у мертвого только тенью и памятью.

Сарай горел. Несло паленым. От камней тянуло нестерпимым жаром, трещали вязанки хвороста, встывала солома. Солнце почти зашло, и сарай горел ярко, а наверху пламя казалось синеватым. В дверь, припертую поленом, настойчиво бухало. Изнутри тонко, пронзительно всверливался в уши детский плач и истонное блеянье овец.

— Жаль, что в мечеть все не влезли.

Белобрысый, яркие голубые глазки. Свен. Это он озаботился вывести овец, прежде чем загнать в сарай людей. Одну все же забыл.

— Интересно, как же они там молились?

Чернявый Трежко сплонул в пыль, пригасив сигаретку. На прикладе его автомата грязно отпечаталась пятерня.

— В две очереди, или как?

Плач прервался. Крыша рухнула, выкинув вверх огненный столб. Трежко выругался, стряхивая с рукава едкие искры.

— Ну все. Кранты хазимам. Уходим?

Я медлил. Что-то в происходящем было неправильным, что-то...

— Смотрите!

Огненный столб не падал. Он рывками поднимался над сараем, над деревней, над горами — как будто его раздувал невидимый ветер.

— Что это?

Набухшие дождем тучи лопнули, но не пролилось ни капли — нет, в просвет ударило алым и белым, электрически затрещали разряды, и над сараем...

— Ты видишь это? Видишь?!

Я видел. Я видел, как Свен, поджав губы, шагнул к свету, как плакал, упав на колени, Трежко, как истово крестился Спас. Я и сам почувствовал вкус земли и копоти на губах. В ушах пела то ли кровь, то ли ангельские хоры. Первый шаг дался мне с трудом, второй — легче, и я грудью ударился о беззвучное пламя. Оно расступилось, и навстречу мне ударил свет...

...свет, дотла выжигающий душу и память, но не дающий тепла.

— Молодец, Анатолий. Вы неплохо поработали.

Рогатая голова Вендерса покачивалась над канцелярским столом, как уродливый торшер.

— Конечно, жаль, что вам не удалось заполучить одного из них. Но ничего, ничего, — шеф с недолжной суетливостью потер руки, — мы напишем петицию, они обязаны переправить нам половину. Они не вправе хранить у себя такое.

Я молчал. Шеф поднял голову от моего отчета и озабоченно взгляделся в мое лицо.

— Что-то вы не кажется мне довольным. В чем дело?

Я кивнул на отчет.

— Зачем нам это?

Вендерс даже привстал. Козлиная борода его изумленно встопорщилась.

— Как зачем, Анатолий? Как зачем? И это говорит человек, претендую-

Давешний мальчик как будто подрос. Вытянулся, стал более тощим и костистым — теперь я уже не боялся упасть, устранившись на узких плечах.

— Все еще за мамку вкалываешь?

— Нет.

Он мотнул головой.

— Поехали, что ли?

Я понял, что разговора по душам не будет.

...До вершины горы мы добрались к вечеру, когда закат в тучах потух. Очки мне не понадобились. В сумерках я с легкостью нашел нужное здание. Длинный заводской корпус напоминал тушу выброшенного на берег кита. Внутри равномерно ухало, и раздавался металлический скрежет. На проходной молодой бес затребовал было мой пропуск, но, приглядевшись, угодливо поклонился. Я заглянул в цех. Ряды гигантских станков уходили в бесконечность. Под потолком скользили краны, в их клювах поблескивали детали механизмов. Подбежавший ко мне бригадир быстро подозвал нужного человека.

— Вас зовут Мария Сваровски?

Женщина с огромными сухими глазами кивнула. У нее были непропорционально большие, мужские кисти рук и широкий лоб, и она была очень похожа на своего младшего сына.

— Мария, можете подавать документы на обжалование. Я возьмусь за ваше дело. Все уже оплачено. А пока я хочу передать вам...

Я протянул Марии листок фотобумаги. Фотография вышла не слишком удачной — я снимал на мобильник, и все же на ней отчетливо было видно бледное лицо и упрямые черные кудряшки. Сваровски-младший пристально смотрел в объектив и улыбался.

щий в будущем на мое место? Нет, не опускайте скромно глазки — претендующий, еще как. Неужели вы не понимаете? Все наши заботы, все наши труды, все хлопоты, — он обвел рукой кабинет и указал дальше, за окно, где привычно полыхало багровым, — вся эта огромная машина и у нас, и у них наверху — на чем она зиждется? Что придает ей силу, что вращает колеса? Да вы понимаете, что без свидетельства бытия Божия все это ноль, бесполезная функция, копошение червей — а свидетельства таких единичи...

Рогатая тень карабкалась по стене. Я вспомнил свой шок при первой встрече с шефом. Заметив мой ошалевающий взгляд, он усмехнулся тогда: что, не нравится, мальчик? Тебе до такого еще служить и служить. И вот я почти дослужился. И я пойду дальше, глубже, потому что дорога здесь только одна. Интересно, что я сумею разглядеть оттуда, из подземных камер, скрытых пластами базальта от малейших проблесков света?

Я взглянул на низкий потолок кабинета, и мне показалось — или я и вправду увидел — тысячи и тысячи миров, мириады существ, суесящихся, живущих, работающих и гибнущих для единственной цели — чтобы в доме за белым забором дотлевал в инвалидном кресле Грашко Йововиц и еще, может быть, пара-тройка таких же несчастных: Жанна из Арка с обгоревшими волосами, бродяга Моисей, ослепший от жара неопалимой купины... Мне стало нехорошо.

— Ох, не нравиться вы мне, Анатолий. Давайте-ка я выпишу вам отпускные, пройдет лечение...

Я едва не ответил ему, что хочу уволиться, — но вовремя вспомнил, что у нас не увольняются. Только поездка в санаторий, девочки, выпивка, морские закаты... Только так. Однако прежде мне предстояло кое-что сделать.

Алекс Резников

Страсти по Спартаку

Мелу Гибсону и его последнему фильму посвящается

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Истинно верующим христианам лучше не читать, хотя, видит Б-г, автор никого не хотел обидеть.

Линортис, твои глаза ослепли, а плодородная долина, которой ты владела, превратилась в могилу для двухсот тысяч душ. В выжженном небе твоём не видно даже сфервятиков; шакалы давно оставили в покое груды белющих костей. Ты стала обелиском для десятков тысяч своих защитников и для десятков тысяч солдат-завоевателей. Когда убийца проливает кровь убийцы, оба становятся равны перед лицом Смерти. Армии двух народов погибли здесь. И хотя одна и считалась победительницей, спросите у мёртвых, кто выиграл войну...

Карл Вагнер «Ветер Ночи»

Эпизод Первый.

*Две тысячи семьдесят пять лет назад,
три тысячи километров на запад*

О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?

Эти слова были актуальны уже за тысячу девятьсот лет до Пушкина.

Марк Лициний Красс, император римлян, окруженный своими офицерами, обозревал поле только что завершившейся битвы. Груды тел в железной броне или бронзовых доспехах, обломки колесниц и других боевых машин, частокон вонзившихся в землю стрел, гигантские туши убитых боевых слонов...

— И все-таки мы победили, — пробормотал он. — Страшно подумать, к чему могло привести наше поражение.

— В Италии остался бы только один император, — заметил Юлий Цезарь, один из младших офицеров.

— И его звали бы Спартак, — Красс сплюнул одновременно с произнесением последней буквы имени ненавистного ему мятежника. — Стати, где его проклятый труп? Его уже нашли?

Никто из офицеров не успел ответить вождю. У штабной палатки, рядом с которой происходил разговор, застрял взмыленный конь, несущий тевтонского наемника.

— Императору привет! — во всю мощь своих легких заорал германец. — Мы нашли Спартака!

Лица офицеров и самого Красса оцептелились улыбками.

— Где он? Я хочу на него взглянуть.

— Его ведут сюда!

— Ведут? — переспросил император. — Ты хотел сказать, несут. («Проклятый варвар, служит у меня три года и до сих пор не может толком говорить по-латыни».)

— Нет, ведут! Мы взяли его живым!!!! — радостно завопил германец.

— Он еще жив? — внезапно упавшим голосом пробормотал Красс. — Какая досада. Это необходимо срочно исправить...

Через несколько минут окруженный целой сотней легионеров и тевтонских наемников бывший император Спартак предстал перед нынешним императором Крассом и его свитой.

Высокопоставленные римляне, погруженные в глубокую задумчивость, некоторое время рассматривали страшного человека, едва не погубившего Республику. Ничего особенного. Высокий и сильный воин, из особых примет только борода. В легионах таких тысячи, особенно среди граждан из восточных провинций.

Спартак, в свою очередь, рассматривал римлян.

— И что ты можешь сказать в свое оправдание? — внезапно нарушил молчание Красс.

Спартак промолчал.

— Это ведь тебя мятежники провозгласили своим Императором? — немного подумав, продолжил Красс.

— Ты сказал, — спокойно ответил Спартак.

От такой наглости Красс ненадолго потерял дар речи.

— Послушай, ты, негодяй, нарушивший все законы...

— Неправда, — перебил его Спартак. — Не думайте, что я пришел нарушить закон; не нарушить пришел я, но исполнить.

— Что за ерунду ты несешь, — изумленный Красс откашлялся что-либо понять, — какие законы ты собирался исполнять, поднимая мятеж против Республики и разжигая гражданскую войну...

— Не думайте, что я пришел принести мир на землю; не мир пришел я принести, но меч, — Спартак гордо расправил плечи. — Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и

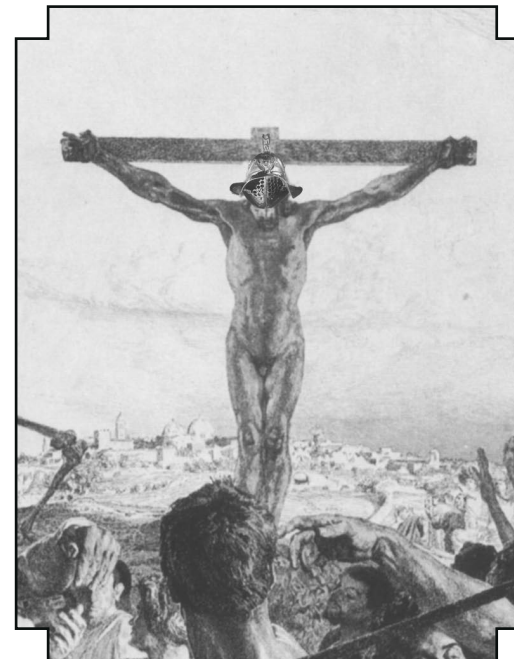
дочь с матерью ее. И враги человека — домашние его...

У Красса окончательно отвалилась челюсть.

— Да он помешался, — осторожно прошептал кто-то из офицеров.

— Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня, — продолжал тем временем Спартак, — и кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня...

«Пора кончать», — подумал Красс. В его мозгу мелькали десятки вариантов. Провести в цепях вслед за триумфальной колесницей... Нет, ни в коем случае! Этого человека опасно оставлять



в живых даже на лишний час, не говоря уже о многих днях до триумфа. Его могут освободить уцелевшие сподвижники. Здесь и сейчас. Повесить, зарезать, четвертовать, расстрелять из катапульты...

— Распните его, — приказал император. Уже секунду спустя он пожалел о принятом решении. Гораздо проще было бы просто отрубить голову. Но императору римлян не пристало менять свой приказ.

Легионеры потащили вождя мятежных гладиаторов к обочине близлежащей дороги, вдоль которой уже устанавливали кресты для нескольких тысяч мятежных рабов, взятых сегодня в плен. По пути один из римлян подобрал с земли заляпанный кровью простой солдатский плащ, принадлежавший одному из убитых сегодня воинов, и накинул его на Спартака.

— Вот твой пурпурный полудамент, «император»! — воскликнул он с нескрываемой издевкой в голосе. Легионеры радостно заржали.

— Я прощаю вас, ибо не ведаете вы, что творите, — прошептал Спартак.

Несколько минут спустя он уже висел на высоте в пять футов, распятый на кресте.

Гладиатор, висевший на кресте справа от него, узнал своего императора и зло прохрипел:

— Ну, Спартак, это и есть та свобода, которую ты нам обещал? Это и есть обещанное тобой спасение?!

— Как ты смеешь, — перебил его другой распятый гладиатор, — это же наш Спартак! Спартак, не забудь меня, когда вернешься на небеса!

— Истинно говорю тебе, — прошептал Спартак, — сегодня ночью мы будем спать в Элизнуме.

— Нет никакого Элизнума, — откликнулся первый гладиатор, германец из Сигамбрии. — Сегодня ночью мы будем спать в Вальгалле. Только

за воротами дворца Одина, потому что умрем позорной смертью на кресте, без оружия в руках...

Потерявший сознание Спартак ему не ответил.

К кресту приблизился легионер с длинным копьем. Обычай позволял убивать висевших на кресте пленников, чтобы избавить их от мучений. Марк Лициний Красс решил подстрелить.

Легионер прицелился, размахнулся, и копье пробило сердце Спартака.

В то же самое мгновение в небе над дорогой сверкнула молния и прогремел гром.

— Воистину, человек этот был праведник, — прошептал потрясенный легионер.

Звали его Павел.

Эпизод Второй.

18 лет спустя,

три тысячи километров восточнее

Теперь костями было усеяно другое поле.

Положение было безнадежное. Легкая прогулка по парфянским владениям не удалась. Римская армия, месяц назад перешедшая границу между двумя империями, уменьшилась уже вдвое. И теперь собиралась исчезнуть совсем.

Римский лагерь на вершине холма со всех сторон был окружен парфянами. Конные лучники время от времени приближались к частоколу, и тогда парфянские стрелы находили себе новые жертвы среди легионеров. На равнине внизу спокойно ждали своего часа парфянские катафракты и боевые слоны. Им некуда было топориться.

— Рано или поздно римлянам придется покинуть лагерь. И вот тогда мы их просто растопчем, — сказал парфянский генерал Сурена, сидевший в тени

под шелковым навесом и державший в руке полный фужер холодного виноградного напитка.

— Амен, — хором откликнулись окружавшие его высшие офицеры.

Как и в прошлый раз, разнообразие в эту в высшей степени увлекательную беседу вложил прискакавший наемник, гуннский арбалетчик.

— Генерал Сурена, — прокричал он, — римский полководец вышел из лагеря с белым флагом! Он хочет говорить с тобой!

— Да ну? — Сурена сделал вид, что удивился. — Ладно, я не буду против, если к нашей беседе присоединится еще один человек.

Несколько минут спустя перед парфянскими вождями предстал Марк Лициний Красс, император римлян собственной персоной.

Он заметно сдал за последние несколько недель. Это понял даже Сурена, впервые столкнувшийся с римским полководцем лицом к лицу.

— Ты пришел, чтобы обсудить условия сдачи? — поинтересовался парфянин, небрежно отпивая из фужера.

Красс проследил взглядом за драгоценным напитком, исчезающим в глотке вражеского генерала, и облизнул пересохшие губы.

— Нет, — с трудом произнес он. — Но я готов увести легионы обратно в земли, подвластные Республике...

Истерический хохот парфянских офицеров был ему ответом.

Долготерпение не относилось к перечню добродетелей Сурены.

— И у тебя хватает наглости, римская собака... — парфянский генерал встал и расправил плечи. — Взять его.

Стоявшие у входа в палатку стражники немедленно исполнили приказ. Крассу скрутили руки за спиной и бросили его на колени.

— Ты прикажешь своим солдатам немедленно сложить оружие, — Сурена

подошел поближе, за ним последовал один из офицеров.

— Нет, — ответил Красс, собравший в кулак остатки мужества. — Только почетное отступление. С оружием и знаменами...

— Довольно, — Сурена дал знак одному из стражников, тот с лязгом извлек меч.

— Целуй крест, грязный язычник, — парфянский офицер сунул под нос императору распятие.

— Я останусь верен своим богам, — прошептал римлянин. — Отец мой Юпитер, не оставь меня...

— Именем Господа Нашего, Спартакуса, отправляйся в ад! — сверкнул клинок, и голова Красса покатилась по песку.

Сурена отвернулся и посмотрел в сторону римского лагеря.

— Пора кончать, — произнес он. — Пусть мои Черные Гунны готовятся к атаке.

Эпизод Третий.

Тысячу двести лет спустя,

три тысячи километров западнее

— Братья! Плечом к плечу! — пронесся над рядами клич. — Покажем проклятым язычникам, как сражаются настоящие рыцари!

— Dominus noster Spartacus! — запели крестоносцы священный гимн. — Ich hatte einen Kameraden. Einen bessern findst du nit, Die Trommel schlug zum Streite, Er ging an meiner Seite, Im gleichen Schritt und Tritt, Im gleichen Schritt und Tritt!

— Освободим Святую Землю Италии! Гроб Господень ждал тысячу лет! Пленных не брать — ведь это проклятые римляне, распявшие Господа Нашего Спартака!

Несколько минут спустя братья-рыцари Македонского Ордена врезались в стройные ряды кирасиров Священной Римской Республики.

Эпизод Четвертый.
Восемьсот лет спустя, три тысячи
километров северо-восточнее

— Спартака нет! — кричал оратор с трибуны. — Нет и никогда не было! Это все поповские выдумки! Религия — опиум для народа! Вся власть Советам! Ура, товарищи!!!
— УРА!!! УРА!!! УРА!!!

Эпизод Пятый.
Наше время, не наши дни

— Во имя Спартака, Эномая и святого Крикса. Приветствую всех братьев и сестер во Спартаке.

В понедельник в нью-йоркской филармонии состоится премьера рок-оперы «Спартак — Чемпион!». Тегеранский Папа уже поспешил предать ее анафеме.

(Продолжение может быть.)

Примечания

1. «Император» в Римской республике — почетное звание полководца, что-то вроде фельдмаршала.

Только в более поздние времена «император» стал титулом монарха. Здесь, впрочем, изящно (если сам себя не похвалишь!) обыгрываются оба значения.

2. Фигня, не было там никаких колесниц и слонов, но я же не учебник пишу, а фантастику, разницу понимать надо!

3. Опять фигня, в Италии была целая туча императоров: Помпей, Лукулл и другие.

4. По одной из версий, Юлий Цезарь там присутствовал. Напоминаю, я пишу не учебник.

5. «Гевтонский наемник» — это круто. Это почти «татаро-монгольский захватчик».

6. Про императорский титул Спартака пишет Джованьоли. Он эти сведения почерпнул у Плутарха (кажется), но это его проблемы.

7. Здесь и далее приводятся цитаты из евангельских текстов от разных авторов и переводчиков (если вы еще сами не догадались).

8. Именно Гражданская война, читайте Валентинова, Балабуху и компанию (ЭТО НЕ УЧЕБНИК!).

9. Если вы еще не догадались, «полудаммент» — это императорский плащ (см. Джованьоли).

10. Элизинум, он же Елисейские поля, — нечто вроде рая в римско-греческой мифологии.

11. Сигамбрия — родина будущих франков.

12. Вальгалла — ну, это совсем просто.

13. Какой фужер?! Из божьего хрусталя, ясный пень.

14. «Виноградный сок», ага, безалкогольный напиток.

15. Это ненастоящий Сурена, это литературный персонаж.

16. Гуннский арбалетчик поторопился.

17. Белый флаг? Разумеется. Но я вам не скажу, из чего они его сделали.

18. «Мы шли под грохот канонады, — запели рыцари, — мы смерти смотрели в лицо. Вперед продвигались отряды спартаковцев, смелых бойцов...»

19. Оказывается, это утверждал не только Остап Бендер, но и Карл Маркс.

рвать себя там на какой-нибудь автобусной остановке, его четырнадцатилетняя сестренка Бетан, о которой мы не можем сказать ровным счетом ничего, поскольку из-под длинного черного мешковатого платья, увенчанного паранджой, какое и положено носить правильным шведским девочкам ее возраста, выглядывали только босые ступни ног с густыми зарослями волос между пальцев, а голова она вообще никогда не подавала, мы даже не уверены, что она в принципе умеет говорить — а уж тем более говорить что-то умное.

А еще в этой самой обычной шведской семье жил не совсем обычный Малыш, которому буквально на днях исполнилось семь лет: начнем с того, что у него были голубые глаза и светлые волосы, что для теперешних жителей Швеции совершенно нехарактерно! Также, заметим, это был единственный мальчик, чье недостойное правоверного поведение уже в столь юном возрасте стало поводом для экстренного созыва Стокгольмской Городской Шуры.

— Это все из-за того, что вы не захотели подарить мне собаку! — захлебываясь слезами, кричал Малыш.

— Малыш, ты же знаешь, что собаки — существа, негодные Аллаху, ибо некоторые гяуры обучают их взрывчатке. А это серьезно осложняет нашу работу по пропаганде истинных ценностей среди неверных!

— Да, я все понимаю, но... Мне, поверьте, было так одиноко и обидно! Я не выдержал и убежал в свою комнату, чтобы поплакать под одеялом — тут-то он и прилетел! Он сказал, что очень болен и что ему тоже срочно нужно в постель! Разве я мог ему отказать? А потом он обеспокоился, что я могу от него заразиться его ужасной простудой.

Ведь Карлсон — самый заразный и смертельно больной человек в мире! Он предложил измерить мне температуру... Ведь он самый большой в мире специалист по измерению температуры у Малышей!

— Малыш, это был не градусник! Ректальные градусники выглядят иначе, — холодно отрезал папа. Спорить с ним было бесполезно. Женщины на всякий случай завывли и принялись заламывать руки, жалуясь на позор, неожиданно свалившийся на их седые головы.

После чего, добросовестно отвопив положенное, дружно, как по команде, заткнулись.

Хлопнула дверь — это отец семейства в сопровождении всех четырех жен и любимой наложницы фрекен Бок отправился в ратушу, чтобы выслушать фетву.

...— Аллах милосерден! — радостно провозвестил папа с порога, когда процессия в полном составе вернулась домой. — Ведь я, чего греха таить, предлагал уважаемым богословам лично



Евгений Демченко Шахид и Карлсон

В городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, рядом с самой обыкновенной мечетью, по соседству с самой обыкновенной городской ратушей, в которой заседали самые обычные шведские муфтин, жила совершенно обычная семья, состоящая из папы, четырех его жен и наложницы фрекен Бок, умудренной в садомазохистских

игрищах и других изощренных способах доставить незабываемое наслаждение своему господину.

И, конечно же, в этой обычной шведской семье были дети: пятнадцатилетний Боссе, как и все мальчики в его возрасте, мечтавший отправиться со своей подружкой Ларре в романтическое путешествие в Израиль и взо-

обезглавить тебя, чтобы кровью смыть ужасное пятно позора с нашей семьи!

...— А я предлагала побить тебя камнями на центральной площади перед ратушей, — сказала какая-то из мам. Отец посмотрел на нее неодобрительно. Мало того, что эта женщина перебивала мужчину, так еще и говорила откровенные глупости.

— Что толку? Ведь ты не умеешь кидаться камнями. Ты даже не сможешь попасть камнем в стену сарая! — заметил он не без оснований.

— А я, Малыш, подала замечательную идею: оскотить тебя и отдать в услужение евнухом, в гарем Мэра Стокгольма! — похвалилась фрекен Бок.

— От тебя, моя сладкая, никто другого и не ожидал! — ласково сказал папа.

— И только наша сумасшедшая бабушка Астрид предлагала просто отшлепать тебя ремнем по тому самому месту, что стало источником твоего несмываемого позора! — злорадно сказал Боссе, наблюдавший за происходящим с безопасного расстояния.

— Старуха совсем сбрендилась. Она впала в маразм еще на заре Великих Преобразований и до сих пор не может или не хочет оценить тех прекрасных результатов, к которым привела шведская государственная программа по приему иммигрантов с Ближнего Востока «Освежение Крови», — грустно заметил папа.

— Ведь если бы не эта программа, вокруг были бы такие же генетические уродцы, как наш Малыш, — добавил Боссе. — Когда я смотрю на его волосы, у меня полное ощущение, что он облит пергидролем, как последняя шлюха. Поблизости не было бы ни одной приличной мечети, нашими соседями по дому были бы сплошные неверные — да что там говорить! Мы сами, страшно подумать, могли бы быть неверными!

Все представили эту ужасную картину, после чего на несколько минут

воцарилось зловещее молчание. Его прервал глава семейства.

— Так вот, Малыш! Решением Совета тебе предоставляется шанс искупить свой ужасный проступок, после чего ты — если, конечно же, сделаешь все как надо — мгновенно попадешь в рай, где тебя уже будут ждать восемнадцать прекрасных, одетых в тончайшие шелка, нежных и обольстительных собачек, страдающих гайморитом. Именно таких собачек, заметь, о которых ты нам уже прожужжал все уши. Хвала Аллаху, недолго осталось терпеть тебя и твое нескончаемое нытье.

— Еще раз с днем рождения тебя, Малыш! — Только теперь стало понятно, почему все это время папа держал руки за спиной. В руках его был огромный, такой аппетитный, пахнущий клубничным джемом и ванилью торт со взбитыми сливками, украшенный сверху семью изящными свечками.

— Внутри у свечек вместо обычных фитилей бикфордовы шнуры, но для надежности лучше поджечь сразу все семь, — строго сказал папа. — В общем, мальчик в твоем возрасте уже должен уметь обращаться с таким тортом. И ты прекрасно понимаешь, чего мы все от тебя ждем. Пожалуйста, не опозорь нашу семью еще раз!

Отец молча вышел из комнаты Малыша, и все остальные — гуськом, в порядке старшинства — покинули помещение.

* * *

— Привет, Малыш! — раздался за окном бодрый, такой знакомый голос. Малыш вздрогнул. Форточка со скрипом отворилась, и в нее, жужжа моторчиком, вплыл лучший друг Малыша, Карлсон. — Как дела? Надеюсь, твои родители не слишком бранили тебя за то, что мы тогда немного... гм... пошалили?

— Да как тебе сказать... — грустно ответил Малыш. — Если честно, то лучше бы мы опять взорвали игрушечную паровую машину.

— К сожалению, у тебя больше не было паровых машин, а я свои забыл на крыше. Поэтому пришлось выдумывать новые способы развлечения — на ходу, — виноватым голосом оправдывался толстый человечек с пропеллером.

«Странно, но я совершенно не хочу умирать!» — удивился Малыш.

«Как жалко, что я не могу вот так вот просто взять и сказать: знаешь, Карлсон, у меня тут торт, целиком слепленный из пластика и только сверху покрытый взбитыми сливками, клубничкой и марципанами, с семью бикфордовыми шнурами, замаскированными под свечки! Сейчас мы зажжем их, полетим к тебе на крышу, и по дороге нас разорвет на мелкие кусочки, как раз на уровне балкона госпожи Петерсен. Взрывной волной у нее посыривает с веревки все белье. А что не посыривает, то забрызгает кровью и мозгами.»

Она, конечно же, вначале будет очень сердиться, но когда ей объяснят, в чем дело — сразу подобрет и скажет, что я был замечательным ребенком и из меня вышел отличный шахид!»

Но так говорить было нельзя. Однако же, согласно неписаному кодексу смертника, если потенциальные жертвы сами заподозрят что-то неладное, то можно с чистой совестью объявить, что теракт сорвался по не зависящим от шахиды техническим причинам.

— Какой чудесный торт! Да еще и со взбитыми сливками и клубничкой! О-хо-хо! И какие замечательные, нарядные свечки! — проворковал Карлсон, вытирая носовым платочком побежавшие из уголка рта слюнки. — Но я бы предпочел такой вариант: семь тортов и одна малю-ю-юсенькая свечка!

«Ага! — подумал Малыш. — Тогда бы так шикарно было, что разнесло бы пол-Стокгольма!»

— Помнишь, ты говорил, что у тебя на крыше целая тысяча паровых машин? — с надеждой спросил Малыш.

Голос его дрожал. — И что ты мне их подарить?

«Ведь если мы взорвем паровую машину Карлсона, это сойдет за микрошахидство и, возможно, искупит хотя бы одну тысячную нашего проступка! А потом мы будем взрывать в день по одной паровой машине и через тысячу и один день полностью искупим свою вину!»

— Кгм, — печально ответил Карлсон. — Видишь ли, Малыш, какое дело... Буквально вчера, когда я предавался у себя на крыше буддистским медитациям, все эти машины — наверняка нарочно! — сами собой начали надоедливо стучать и пыхтеть. Я кричал на них и топал ногами, ведь я — самый великий в мире укротитель взбесившихся паровых двигателей, но, представляешь, на них это совершенно не действовало! Я был так зол, что собрал их в кучу и вышвырнул на помойку! Думаю, что тем самым я подавил Восстание Машин в самом зародыше и, таким образом, спас все человечество от неминуемого порабощения ужасными киборгами. Но разве кто-нибудь похвалит бедного, одинокого мужчину с пропеллером за этот, вне всякого сомнения, героический поступок?

«Значит, с паровыми машинами ничего не выйдет», — грустно подумал Малыш.

— А помнишь, ты обещал подарить мне щенка? — неожиданно вспомнил он, и сердце его вновь наполнилось слабой надеждой. — Ты сказал, что у тебя на крыше десять тысяч щенков чистых кровей!

«Если он подарит мне щенка, тот, наверное, сразу начнет лаять на торт. Карлсон, конечно же, поймет, что с тортом что-то неладно, и теракт сорвется по не зависящим от меня причинам!»

— Эх... — скорбно произнес человечек, задумчиво урча пропеллером. — Ты понимаешь, дорогой мой Малыш, буквально вчера еще все мои щенки — эти милые, славные существа — были здоровы и

веселы, а буквально сегодня утром они разом заболели чумкой и сохли. Вот ведь незадача! — маленький человек всхлипнул и принялся сморкаться в огромный клетчатый платок.

«Ну, что же! Я сделал все, что мог! Такое ощущение, что эти неверные играют с нами в поддавки. В самом деле, нельзя же быть такими идиотами!» — сдерживая рыдания, тихо пробормотал себе под нос Малыш, зажигая одну за другой все семь свечек на торте.

— Полетели на крышу! — сказал он вслух, усаживаясь на спину маленькому толстому человечку.

— Только чур, торт будет у меня в руках, а то ты его, чего доброго, уронишь или начнешь есть без меня, — капризно потребовал Карлсон.

«Ну вот, он сам лишил себя последнего шанса!» — с горечью подумал Малыш, безропотно отдавая торт. Свечки на торте издавали зловещее шипение и постреливали искрами. Карлсон нажал кнопку, пропеллер закудахтал, затем взревел, и обреченная пара взмыла в небо.

...Вид Стокгольма с высоты птичьего полета заворожил Малыша. Узенькие, тесные улочки старого города, вымощенные брусчаткой мостовые и площади, такая знакомая и незнакомая одновременно — если смотреть на нее сверху — городская ратуша... Из которой как раз в это время вышла внушительная толпа — сверху было сложно разглядеть, кто, собственно, это был, но в центре толпы явственно выделялась огромная блестящая потная лысина.

— Малыш, а ты знаешь, кто в мире самый меткий швырятель тортов? — возбужденно закричал Карлсон и под воздействием минутного помрачения рассудка метнул торт вниз, точнехонь-

ко в круглое лоснящееся пятно. — Не волнуйся, Малыш! У меня на крыше целая тысяча тортов, точь-в-точь как твой, и тоже со свечками!

Далеко под ними что-то гроыхнуло.

Услышав взрыв, женщины хором взвыли, оплакивая любимого Малыша.

— Замолчите, дуры! — рявкнул на них папа. — Одним шахидом больше, одним мальчишкой меньше — дело-то житейское!

— Нет, Малыш, ты видел? Точнехонько в лысину! — возбужденно вопил Карлсон. — Этот дядька аж лопнул от злости! Никогда не видел такой нервной реакции! Полетели скорей на крышу, у меня там целая тысяча тортов, мы устроим настоящую тортобомбардировку!

— А ты не врешь?.. Ой, извини... Ну, в смысле, у тебя действительно столько тортов? Откуда, хотел бы я знать?

— Только обещай, что никому не расскажешь. Я обнаружил огромный склад тортов в городской ратуше и по ночам потихоньку таскаю их через дымоход. Правда, на вкус они оказались не то чтобы очень — пластилин пластилином, — поэтому я их просто складываю штабелями. Вдруг они, как суточные ши, должны отстояться, а?

— Слыхали новость? — сказала прямо с порога госпожа Петерсен с пятого этажа. — Кто-то взорвал нашего Мэра, когда он выходил из ратуши и направлялся в свой гарем! И самого Мэра, и янычар из охраны — в мелкие клочья!

— По-моему, кто-то нарушает установленные правила игры, — обеспокоенно сказал папа. — Это ведь мы должны взрывать неверных, а не они нас, верно? А иначе получается полный бардак!

— Вот-вот, господин Свантесон! Я тут подумала: а вдруг у них появился какой-нибудь свой, местечковый Аллах, и он объявил неверными нас?

— Это было бы крайне обидно! Вот идешь ты себе по улице, никого не трогаешь, а тебя — бац! И рвет на кусочки. Жутко неприятно!

— Действительно! Нас-то за что? Мы же им не сделали ничего плохого!

— Эти торты и вправду совершенно невозможно есть. Но зато ими так здорово швыряться с воздуха! Бери по одному в каждую руку — я уже взял пару, и полетели!

Малыш с важным видом зажег на тортах свечки, после чего взобрался на спину маленькому человечку с пропеллером.

— Я думаю, Малыш, никто из взрослых не обидится на нас всерьез, если мы немного пошалим, — подумав, добавил Карлсон, заводя мотор.

Сергей Трищенко Перед Пасхой

На каменной плите трепетал язычок пламени.

— Ты смотри, не обманули! — удивился Анатолий.

Он присел на корточки, наклонился к язычку. Маленькое пламя горело ровно, острым язычком тянулось вверх, словно замороженное.

— Откуда берется огонь? — Викторян присел рядом с другом. — Отверстия в плите не видно.

— Оно очень тонкое. Примерно с волосок.

— Но тогда вокруг виднелась бы копоть, — возразил Викторян, — а ее нет.

— Если горят не углеводороды, то копоть быть не может, — пояснил Анатолий. — Например, сероводород.

Но тут же возразил сам себе, добавив:

— А тогда чувствовался бы запах сернистого ангидрида.

— Может, горят фосфины? — предположил Викторян.

И оба замолчали, припоминая признаки горения фосфинов, этих соединений фосфора.

— Это наиболее логично, — заметил Викторян. — Они всегда появляются на кладбищах.

— Ты считаешь...

— Да. Он остался, похоронен тут.

— И до сих пор...

— Именно. У меня есть гипотеза.

— Какая?

— Все связано с космическими факторами. Вернее, геомагнитными, геоцентрическими, гео... в общем, с земными. Они — те, которые хоронили его — хорошо утрамбовали землю. Они боялись, что римляне

найдут могилу и надругаются над ней.

— Будто у римлян не было других забот! — усмехнулся Анатолий.

— Да, но первохристиане об этом не знали. Свое дело всякий считает наиболее значимым. И кажется, что все окружающие только о том и думают. Одни хотят помочь, другие — помешать. А у каждого полно своих забот. Ну и вот. Словом, могилу тщательно упаковали. Даже сверху приваляли плитой.

— А разве это не указывает прямо, что под ней кто-то похоронен? Если уж они боялись римлян.

— Таких плит полно. Поди угадай, под которой похоронен их Спаситель.

— Хм...

— Так вот. А раз в году Земля поворачивается таким образом, что создаются условия для выхода фосфинов наружу. А они самовозгораются на воздухе. Отсюда — пасха, огонь на гробе господнем и тому подобное.

— Логично, — пробормотал Анатолий, поднимаясь.

Он прошелся по каменной камере,

оглядывая скалистые стены. Те были чисты, без единой надписи.

— Оставим память о себе? — кивнул он на стену.

— Зачем? — лениво протянул Викторян. — Установка внепространственного перемещения пока засекречена. Не стоит ускорять процесс. Пусть пока все останется как есть.

Он поднялся.

— Пора уходить. Скоро сюда войдут люди.

— Один человек, — поправил Викторян. — Специально избранный кардинал. Он должен донести святой огонь людям.

— Но... тут нет ничего святого! — возразил Анатолий. — Обычная физика.

— Ага, — согласился Викторян.

Он достал из кармана пачку сигарет, вынул одну, размял между пальцами, похлопал по карманам в поисках зажигалки. Не нашел. Усмехнулся и, наклонившись, прикурнул от затрепетавшего над плитой огонька. Пустил тонкую струйку дыма.

В камере внезапно потемнело.

Анатолий посмотрел на плиту.

Огонь погас.



Леонид Каганов Микки Маус и Православие Головного Мозга

«Кондуктор потребовал, чтобы я показала билет. Выходит, на слово он мне не поверил? Обвинил меня во лжи? Будто я лгу, я брешу? Брешу как собака? А собака женского рода — это же сука? Граждане, все слышали, он меня блядью назвал!»

© советский анекдот

Будни нашей страны ознаменовались достаточно мерзотным и в высшей степени показательным событием: судом над старой художественной выставкой, состоявшейся четыре года назад. Что любопытнее всего — мнения в обществе разделились. Если же разбираться без шума и эмоций, выясняются любопытные вещи. Во-первых, никто из тех, кто сегодня громко обсуждает выставку, там в 2006 году не был. Ни блоггеры, ни толпы старух с хоругвями у зала суда, которых показывали в репортажах. То есть мы имеем классическое «Пастернака не читал, но осуждаю». Более того — после громкой озвучки «мнения сверху» у всей страны послушно сложилось понимание, что злые преступные художники с целью осквернения православия собрались вчера и быстро намалевали ужасных картин, чтобы сделать выставку под названием «Слава мату, долой святую веру!» А так ли это вообще было и что именно за картины осуждены? Попробуем разобраться.

Вот официальное обвинение Таганской прокуратуры (http://leodah.ru/dnevnik/2010/07/ind_obvinenie.htm). Оно настолько прекрасно, что я даже уткнул его с сайта фонда Сахарова и скопировал у себя, побоявшись, что там его могут убрать из открытого доступа по требованию прокуратуры, когда та осознает всю глубину срама. Цитирую отрывки, пожалуйста и вы над слогом:

Ерофеев А.В., являясь заведующим отделом новейших течений Государственной Третьяков-

кой галереи, в неустановленное следствие время и месте вступил в предварительный преступный сговор с Самодуровым Ю.В., состоящим в должности директора некоммерческой организации культуры «Музей и общественный центр «Мир, прогресс, права человека» имени Андрея Сахарова», в целях совместной подготовки и проведения в городе Москве общедоступной выставки, чёткая концептуальная направленность которой состояла в публичном выражении в наглядно-демонстративной форме унижительного и оскорбительного отношения к христианской религии в целом, а к православному христианству — в особенности, а также к религиозным символам, почитаемым православными верующими, путём публичной демонстрации в помещении Музея специально отобранных экспонатов, возбуждающих ненависть и вражду, а также унижающих достоинство лиц по признаку их отношения к христианской религии в целом и православному христианству в особенности. Действуя во исполнение совместного преступного сговора и согласно ранее оговоренной роли, используя своё служебное положение, Ерофеев А.В. принял решение о подборе экспонатов выставки, по своему смысловому содержанию и направленности полностью соответствующих её преступным целям, после чего, во исполнение совместного преступного умысла, используя своё служебное положение и профессиональные познания в области искусствоведения, осуществил подбор и доставку в город Москву экспонатов, ранее не разрешённых к публичной демонстрации в различных выставочных залах и галереях.

Так и вижу эту картину: приходит завотделом авангарда Третьяковки к директору фонда Сахарова «Прогресс и права человека» и говорит шепотом, оглядываясь, нет ли поблизости ментов: «А не замутить ли нам, коллеги, преступный разговор с целью унизить достоинство лиц по признаку отношения к христианской религии?»

Может, вы думаете, это такая шутка или фельетон? Увы, реальное обвинительное заключение прокуратуры, полностью удовлетворенное Таганским судом города Москвы современной России. Не шутка, нет. Шутить будут люди будущего, поскольку эта дивная бумага обязательно войдет в историю. Еще отсюда же, тоже невозбранно прекрасное:

Применительно к графической композиции Илья Кабаков «Пошел ты...» выраженное и реализованное его оскорбление как речевой (в виде надписи) и образный акт совершенно определенно использует соответствующие цензурные матерные выражения, направленные (адресованные) конкретному лицу — зрителю. Кроме того, автор экспоната направляет оскорбительное действие надписи данного экспоната также на всех людей, которые могут увидеть экспонат или его изображение вне помещения выставки, в том числе на экспертов, сотрудников следственных органов, судей.

Что же это было?

Что это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Вы что — мужики или педерасты проклятые, как вы можете так писать? Есть у вас совесть? Я вам говорю как Председатель Совета Министров: все это не нужно советскому народу. Понимаете, это я вам говорю! Запретить! Все запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! Я говорю! И проследить за всем! И на радио, и на телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорчевать!

Н. С. Хрущев, речь на разгоне выставки 1962

Складывается впечатление, что нынешний суд пресек некий настолько вопиющий и преступный акт осквернения православия, по сравнению с которым даже песня знаменитой британской группы «The Tiger Lillies» под названием «Banging in the Nails», герой которой прибивает гвоздями Христа и засовывает ему в рот свою пиписку, покажется милой и несерьезной детской распежкой.

Правда в том, что выставка называлась «Запретное искусство» и цель ее была буквальна: выставить картины, по разным причинам запрещенные худсоветами в прежние годы. Причем — в очень сильно прежние. Каждый, кто взял себе за труд хотя бы глянуть список картин (тех самых, «собранных в преступных целях с использованием служебного положения»), с удивлением узнал бы, что самая старшая из картин датируется 1966 (!) годом, остальные же — 1972, 1983, 1985, 1995 и вплоть до 2002–2005. То есть тема выставки буквально: то, что запрещали за последние полвека, мы попробуем показать сегодня, авось «мир, прогресс и права человека» (с) сдвинулись за это время. Хрен там.

Вообще история гонений художников имеет в нашей тоталитарной стране богатую историю. После расцвета авангардного искусства во всем мире в начале XX века в революционной России поначалу на модных художников и поэтов кровавая диктатура пролетариата не обращала особого внимания, других врагов хватало. Многие из них (в т. ч. Малевич) умерли своей смертью до начала репрессий 30-х. А Маяковский, который начал свою карьеру, тусуясь с авангардистами, и вовсе стал пролетарским символом. Но вскоре единственным действующим жанром в искусстве страны был объявлен соцреализм, и в сталинские годы, понятное дело, уже косили всех, кого могли, и художников тоже. Затем наступила хрущевская оттепель — для всех, но не для авангардистов.

1 декабря 1962 года Хрущев разгоняет выставку «Новейшее искусство». Чем и вошел в историю. Ведь сегодня в народе Хрущев ассоциируется с двумя эпизодами: стук ботинком по столу ООН и разгон художников-авангардистов с криком «пидарасы». Далее было 15 сентября 1974 года, когда выставку художников-авангардистов в Беляево разломали бульдозерами. Это уже при Брежневе.

Вопрос: чем сейчас, в 2010 году, господа судьи хотели удивить автора картины 1966 года, известного художника-шестидесятника, свидетеля всех тех событий советской истории? Сам Михаил Рогинский давно умер и не дождался постановления суда по поводу своей картины 1966 года, описанной в судебном заключении так: «Экспонат “Кухонный разговор” Михаила Рагинского (холст, масло) включает ненормативную матерную лексику, составляющую часть изображения. На экспонате изображена верхняя поверхность стола, на

которой расположены стеклянная банка, нож, полуоткрытый спичечный коробок, круглое блюдо, рядом три круглых предмета (предположительно — картофелины); на стене за столом на зеленом фоне красная надпись: “Еб...сь — размножайтесь”». Вот чем, оказывается, враги оскорбляют сегодня православие! Кстати, он Рогинский, а не Рагинский — и это не последняя неточность в заключении, их там кучи.

Так что же это за картины?

Запрещенный Микки Маус

Я пустил в ход фразу, которой нас обучали на боевой подготовке, — от этой фразы любой дракошка упадет в бешенство: «Кизз да йузмаат! Шизумаат!» Она означает: «Шизумаат (наиболее почитаемый у дракошек философ) питается экскрементами киззов». А это все равно что выступить с утверждением, будто лежувляк питается свиной. От подобного кощунства дракошка в ужасе разлинул пасть, потом захлопнул ее, буквально побурев от злости: «Ирксмаан, глупый твой Микки-Маус есть!»

[...]

— Расскажешь мне об учении Шизумаата, если я тебе прощу... то, как ты тогда отозвался о Микки-Маусе?

— Меня это все время тяготило, Дзвидж. Если ты меня простишь, я расскажу о Шизумаате. Но ты должен посвятить меня в учение Микки-Мауса.

Лонггер Барри «Враг мой», 1978

Итак, нам с телеэкранов говорят, что там был «ужас-ужас». А на самом деле? Ну, мы уже поняли, картофелина на столе и надпись «еб...сь-размножайтесь» на стене, ужаснее оскорбленный мир не выдвигал. А еще что? Вот другой типичный пример осужденной картины, преступно оскорбляющей православие.

Фотожаба картина относится к серии «Путешествие Микки Мауса по истории искусства». Какие мысли возникают у нормального здорового человека, когда он видит картину? Спектр достаточно широкий. Например: нынешние люди, увя, удалились от бога, веру заменяют предметы масс-культы. Или: если бы существовал ре-

альный мультяшник о путешествии Микки Мауса в ту эпоху, я бы его с интересом посмотрел. Однако существует в мире воспаленный мозг, который Микки Мауса воспринимает иначе, цитирую обвинение прокуратуры:

Основная содержательная нагрузка и цель данных экспонатов состоят в том, чтобы транслировать следующие идеи-утверждения: что равноценны и равнозначны (сопоставимы) образы Иисуса Христа и Микки Мауса; что равноценны и равнозначны (сопоставимы) по своему культурному и нравственному содержанию православное христианство и любой медийный продукт, например мультфильм про Микки Мауса; что православное христианство — своего рода мультипликационная сказка, история, предназначенная для времяпрепровождения, легкого развлечения, не несущая в себе никакого ценного духовно-нравственного или религиозно-культурного содержания. Следовательно, указанные экспонаты А. Савича представляют собой и осуществляют предельно циничное, издевательское оскорбление, дисфорическое высмеивание религиозных убеждений и религиозных чувств православных верующих, унижение их человеческого достоинства по признаку отношения к религии. Экспонат совершенно очевидно, умышленно направлен на достижение указанного выше результата.

Даже не так смешно, что сыщики прокуратуры перевали фамилию автора картины с Микки Маусом, впопыхах назвав Александра Савко «А. Савич». И даже не так смешно, что размещение Микки на полотне средневекового немецкого като-

лика Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда суд счел оскорблением «православного христианства». И даже не так смешно слово «дисфорическое», мелькнувшее в обвинении, — этот сугубо медицинский термин используется только в диагнозах психиатрии, я-то его знаю с той стороны, врачебной, поскольку оканчивал психфак, а вот автор обвинения сильно попалился —

дал миру богатую почву для предположений, при каких обстоятельствах личной жизни он заполучил словечко в свой лексикон и теперь использует не к месту («дисфорическое высмеивание» — это ж надо было такое ляпнуть).



Смешнее всего здесь другое: современный суд впервые после судов совковой эпохи снова взял на себя честь и труд объяснить всему миру, что «на самом деле» означают те и иные произведения искусства. В чем, так сказать, их смысл и на что они «совершенно очевидно умышленно направлены» (с). Суд постановил – других мнений нет.

А может, есть и другое мнение? А если спросить у автора? Или спросить у организаторов выставки? А если поинтересоваться личностью и привычками художника, чтобы лучше понять, что он хотел сказать? Вдруг он, например, сам верующий и никаких оскорблений религии не мыслил? Может, и нет, но вдруг? Кто-то его спрашивал? А может, это вообще его обычный прием – размещение мультипликационного героя на классическом полотне, и при этом неважно, религиозный был сюжет картины или светский? Найти другие картины художника Савко нетрудно, вот например:



Савко и найти оскорбительный смысл во всех его прочих картинах? Ведь даже на тех трех, что я привел выше, вполне можно углядеть:

1) Дисфорическую попытку фальсификации истории (письмо турецкому султану сочинили не казаки, а клоуны) либо оскорбление казачества (все казаки – клоуны).

2) Дисфорическое оскорбление чести и достоинства женщин (равноценны и равнозначны (сопоставимы) женщина и телепузик).

3) Дисфорическое оскорбление ветеранов 1905 года, принижение их воинской доблести и умаление заслуг (изображение Спайдермена на поле битвы с флагом).

Остается непонятным, почему же суд оставил совершенно без внимания картину другого художника с той же выставки – «Чеченская Мерилин», где изображена безумная шахидка в национальном костюме со взрывчаткой на поясе и совершенно неприлично для мусульманки вздернутой юбкой. Но нет, эта картина прокуратуру почему-то не заинтересовала. При том что в тексте обвинительного заключения слово «православие» повторяется 128 раз, нет ли в этом решении суда «унижения человеческого достоинства по признаку отношения к религии» для мусульман?

Запрещенная картина

«х», «у», «я», «к»

...в том числе экспонат – графическую композицию *Авдея Гер-Оганьяна «Взрыв №5», включающий ненормативную матерную лексику и составляющий собой стилизованное изображение взрыва на фоне белых клубов дыма, всё это – на фиолетовом фоне, поверх чего написано с восклицательным знаком состоящее из четырёх букв «х», «у», «я», «к» нецензурное, матерное слово, публичное употребление которого и экспонирование надписей этого слова является грубейшим оскорблением общественной нравственности...*

Смешна здесь даже не сама картина, изображения которой мне найти не удалось. Спасибо feika в комментариях, прислали картину. Зацените, вот как оно выглядит, грубейшее оскорбление нравственности и православия.

Смешно даже не то, что судьи и прокуратура абсолютно не рубят в мировой авангардной живописи и глухо не в курсе, что означает знаменитейший мем «номер пять», которому уже сто лет. Они явно не



понимают, к чему адресуются и с чем полемизирует картина, а думают, наверно, что у автора еще четыре картины – «взрыв номер 4», «номер 3»... Но дело даже не в этом.

Фишка в том, что здесь «оскорблением нравственности и православия» признано не изображение и не сюжет картины (с православием он уж точно не связан), а само слово «х», «у», «я», «к». Было бы «б», «а», «м», «с» – не было бы претензий.

И вот тут у меня, как у писателя и читателя, сразу возникает ряд вопросов. Слово «х», «у», «я», «к» является оскорбительным настолько (до 5 лет тюремного заключения просил прокурор), лишь будучи написано на картине? А если оно не на картине, а в литературе? В прозе или стихах? Имею я право использовать это слово в своих книгах? А имею ли право продолжать хранить дома книги Пелевина, где оно встречается? И что мне теперь делать с полным собранием сочинений А. С. Пушкина? Со всякими его стихами типа «С утра садимся мы в телегу; Мы рады голову сломать И, презирая лень и негу, Кричим: пошел, ебена мать?» – или, что еще оскорбительней для православия: «Ты помнишь ли, как были мы в Париже, Где наш казак иль полковой наш поп Морошил вас, к винцу подсев поближе, И ваших жён похваливал да ёб?»?

Небольшое отступление

Искусство, как известно, уже не первый век делится на классическое и экспериментальное. Образно говоря, одни в стихах движутся классической тропой и прямым недвусмысленным текстом рассказывают о любви и погоде, рифмуя «розы-морозы». А другие пишут стихи загадочные, без видимого смысла и рифм, экспериментируя с формой. И большая часть обывателей-современников это стихами не считают, хотя имя Хлебникова затем попадает в учебники. И если сперва такое искусство называли «новым» и бытовало мнение, что таким образом современная молодежь дурью страдает (читаем Аверченко «Крыса на подносе»), то по прошествии лет ста уже понятно, что это просто своя ниша и «новым искусством» ее называть, как называли наши прадеды, уже как-то глупо столько веков-то. А правильней придумать какое-то другое слово. Так появилось сло-

во «авангардизм», которое означает, что представители этого направления экспериментируют на переднем крае искусства, пытаясь предложить что-то иное, нежели осточертевшие вазы с персиками, березы у пашни и «портреты купца Хренова», которые штампует мейнстрим, превратившийся из искусства в ремесленничество. Да, авангард недоступен рядовому обывателю без знаний и специальной подготовки, но именно там рождаются новые идеи, которые со временем переходят в классическую традицию. Обывателю непонятно, что делает алхимик у дымящихся коб и что означают все эти гнутые облезлые железяки, но если он изобретет метод хромирования сковородки, обыватель оценит. Это все относится и к живописи, и к кино, и к театру, и к музыке, и вообще к любому виду искусства: есть мейнстрим – буквальный, объясняемый в двух словах и понятный даже тупому, и есть пограничные жанры, где разговор ведется на другом языке и требует эмоционального понимания или знания.

Никто не заставляет любить авангард. Есть причины его любить и не любить. Не любить, например, за непонятность или вызов обывателям. Я и сам не большой поклонник авангарда. Но когда трактовать авангард берется генсек, мент с бульдозером или Таганский суд – то это, ребята, позор для страны. Потому что ни в одной нормальной стране такое невозможно – только в СССР, в Северной Корее или Иране. И вот теперь – снова в России, поздравим себя, товарищи.

Экспонат – «Без названия», представляющий собой фотоколлаж, изображающий вместо головы Иисуса Христа изображение советского ордена Ленина. Основное содержание и цель данного экспоната состоят в том, что равным образом тоталитарны и деспотичны как православное христианство, так и большевистский режим В. И. Ульянова-Ленина.

Смешно здесь не то, что прокуратура считает Иисуса Христа символом исключительно «православного христианства» (слышали бы это католики, лютеране, григоринцы и весь остальной мир). Смешно то, что прокуратура сама придумала картину объяснение «православное христианство равным образом тоталитарно и деспотично,

как режим Ленина», и сама же этот тезис попыталась осудить. Но, осудив его официальным решением суда, именно его же они тем самым и доказали: показали всему миру, что православное христианство (интересы которого защищал сегодня суд) ведет себя равным образом тоталитарно и деспотично, как вели себя с авангардистами при режиме Ленина.

И последнее

— Медлить нельзя, — вдруг сказал Жерар. — Веди же нас, Искупитель.

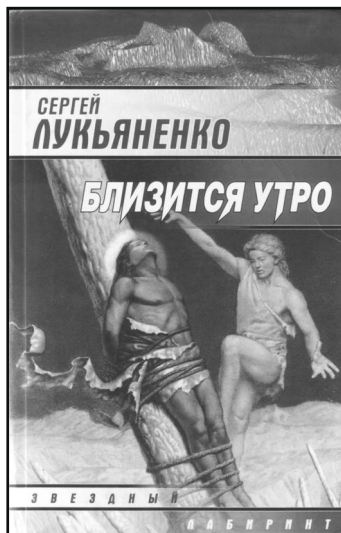
Слово было произнесено.

Искупитель.

С. Лукьяненко «Близится утро»

Собственно говоря, подтолкнуло меня написать пост о суде над художниками недавнее выступление Сергея Лукьяненко (<http://vz.ru/columns/2010/7/14/418185.html>).

Который, при моем к нему уважении, сегодня не прав. Это, конечно, хорошо — радоваться постановлениям судов над художественными выставками в стиле «долгой мерзавцев, моя Россия встает с колен». А вся Европа, значит, на коленях стоит, если своих художников-авангардистов не судит? И не для того ли Россия встает с колен, чтобы к кому-то из нас снова повернуться жопой? Сегодня она повернулась к художникам, обнаружив в совершенно безобидных (как мы убедились) картинах «предельно циничное дисфоричное оскорбление морали и православия». А завтра к кому повернется жопой Россия? Кому завтра попытается вцепить 5 лет лагерей Таганский суд, в последний момент заменив на штраф 300 тыс.? Педагогам, поставившим в школьном театре пушкинскую «Сказку о попе и ра-



ботнике Балде»? А может, православные активисты на этот раз обратятся в прокуратуру, прочтя книжку самого Лукьяненко, например «Холодные берега. Близится утро»? И найдут там, разумеется, все признаки оскорбления православия, карикатурные пародии на Искупителя, апостолов и распятие. И вообще возмутятся тому факту, что в роли распятого Христа-Искупителя с нимбом на голове в своем воображаемом мире автор рисует Ильмара-вора, блатного ээка, убежавшего с каторги. И эта штука, если смотреть через ту же самую православную лупу, окажется посылнее Микки-Мауса. Может быть такое? В нашей стране — запросто.

Р. S. Ну и отдельное непонимание — по какой именно статье нашего УК были осуждены организаторы выставки. Оскорбление религии? Нет такой статьи в УК. Вандализм? Порча морского кабеля? Клевета? Оскорбление личности? Ни к какому конкретному Васе Пупкину картины не обра-

щались. Осудили выставку по статье 282 — разжигание религиозной ненависти. Непонятно тогда, почему большая часть обвинений посвящена картинам типа «Х», «У», «Я», «К». Но смешно даже не это. Допустим, американский Микки Маус разжигал на католическом полотне в иудейском Гефсиманском саду вражду к русскому православию. Допустим. И в чем это проявилось? Кто-то после выставки пошел громить церковь или иным способом выразил ненависть? Таких фактов у суда нет. С точностью до наоборот: на выставку того же Самодурова ворвались те же православные активисты и устроили разгром в музее. И после этого они же имеют наглость заявлять, что вражду разжигают картины! Прекрасный метод. Подбегашь на улице к негру, бьешь ему в морду и сразу пишешь заявление в суд: его вид разжег во мне вражду, накажите подлеца!

Содержание

От редакции 2

РАССКАЗЫ

Федор Чешко. *Естествознание в мире ангелов* 3
Владимир Данихнов. *Руди гарантирует* 8
Марина Маковецкая. *Осенний день без мая* 15
Юлия Зонис. *Седьмое доказательство* 23
Алекс Резников. *Страсти по Спафтаку* 38
Евгений Демченко. *Шахид и Карлсон* 42
Сергей Трищенко. *Перед Пасхой* 47

ПУБЛИЦИСТИКА

Леонид Каганов. *Микки Маус и Православие Головного Мозга* .. 49

IMPRESSUM

MERIDIAN Tel. 0511 / 394 98 55
Postfach 510429 30634 Hannover

E-mail: urinson.k@freenet.de
meridian2004@bk.ru

Bankverbindung: Kt-nr. 7978309

BLZ 25010030 Postbank Hannover

Chefredakteur: Dr. Grigoriy Panchenko

Redaktion: Dr. Konstantin Urinson

Dr. Grigoriy Urinson

Marina Makowetskaya

Design/Layout: Marina Makowetskaya

Korrektor: Marina Makowetskaya

Тираж 3000 экз.

При оформлении обложки использована картина Фелисiena Ропса «Искушение святого Антония» (1873).

Иллюстрации:

Стр. 4 — Ф. Чешко.

Стр. 9 — использована иллюстрация А. Кубина (1903).

Стр. 16 — использована иллюстрация О. Кокошки (1913).

Стр. 24, 39, 48 — М. Маковецкая (коллаж).

Стр. 43 — А. Крафт (коллаж).

«Реальность фантастики» — ежемесячный литературно-художественный «толстый» журнал фантастики. Издаётся с августа 2003 года в Киеве. Самый крупный журнал фантастики в Украине и один из трёх крупнейших на территории бывшего СССР. Журнал публикует фантастические повести и рассказы любых направлений. Имеет обширный и качественный раздел критики и публицистики. Наряду с известными писателями публикует большое количество молодых перспективных авторов.

По поводу приобретения и подписки на территории Германии обращайтесь в редакцию «Меридиана».



Ambulanter Pflegedienst

RESPECT

0800 100 37 59
0 cent/min! Бесплатный телефон
Звоните прямо сейчас!

Pflegedienst Respect организует раздачу
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Заявки на получение бесплатных продуктов:
тел. 0511 89 77 821